

84 (2Р-4Кем)
0-38 1.1986

Январь—март

О Г Н И
КУЗБАССА



588880



Геннадий Юров

СЛОВО

Коммунист просит слова.
Послушай, Земля!
Твой работник не часто речист.
Будет слово весомо,
Как глыба угля,
Если слово берет коммунист.
Он взыскательно смотрит
В распахнутый зал,
И душою и мыслями чист.

Будет в слове
Особой закалки металл,
Если скажет его коммунист.
Воплощеньем мечты
Отзовется вдали,
Обязательством ляжет на лист.
Станет слово
Делами Кузнецкой Земли,
Если слово дает коммунист.

№ 1 (91)

Год издания 38-й

Выходит
ежеквартально

ОГНИ КУЗБАССА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ
ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

84 (2Р-4Кем)
0-38

Редактор

Владимир **МАЗАЕВ**

Редакционная коллегия:

Виктор **БАЯНОВ**

Сергей **ДОНБАЙ**

Геннадий **ЕМЕЛЬЯНОВ**

Валерий **ЗУБАРЕВ**

(ответ. секретарь)

Владимир **КУРОПАТОВ**

Владимир **МАТВЕЕВ**

Валентин **МАХАЛОВ**

Зинаида **ЧИГАРЕВА**

Геннадий **ЮРОВ**

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Владимир Куропатов. Ватага. Повесть	3
Любовь Скорик. Фа-мажор. Рассказ	40

СТИХИ

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Тамара Рубцова. Памяти отца. На окраине Юрги. Счастливая. Колыбельная. Примета века	37
Борис Бурмистров. Путь. Пора сенокоса. «Хоронили в селе пастуха...» «Звучит печальный вальс...» «Зовет апрель...» «Опять дожди тиранят город...» Стихи	38
Иосиф Куралов. Родимый край. Терриконы. Музыка	49

НАШ СОВРЕМЕННИК

Валентин Махалов. Суровая муза. (Страницы жизни поэта В. Д. Федорова). Очерк	51
--	----

ПРОБЛЕМА? ДА, ПРОБЛЕМА!

Борис Синявский. Дерево в городе	64
--	----

ИСКУССТВО

Зоя Естамонова. Традиция в нас	73
--	----

ЧИТАТЕЛЬ И КНИГА

В. Ширяев. «Все-таки почему мы такие?!»	80
---	----

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

Владимир Матвеев. Сатирические миниатюры	84
Борис Рахманов. Пародии	86

Кемеровское
книжное
издательство
1986



Адрес редакции:
650099, Кемерово-99,
Советский пр., 40.
Тел. 6-26-95, 6-85-14

Рукописи
не возвращаются

Составитель
В. М. Мазаев

Ведущий редактор
Т. Махалова
Художественный редактор
В. Кравчук
Технический редактор
Г. В. Адова
Корректор
В. А. Лузина

На первой странице
обложки: Хмелевской
А. П. (Кемерово). Земля
Кузнецкая. 1984—1985. Медь
литая, сварка.
На четвертой стра-
нице обложки: Алек-
сеев А. И. (Иркутск). Мать.
Х., м.

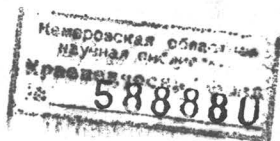
НАШИ АВТОРЫ

Куропатов Владимир Федорович родился в 1939 году в с. Кузедеево Кемеровской области. Окончил Новокузнецкий педагогический институт. Автор многих книг прозы. Его рассказы переведены на венгерский и японский языки. Член Союза писателей СССР. Живет в Кемерове.

Скорик Любовь Трофимовна родилась в г. Днепропетровске. Окончила Томский государственный университет. Автор сборников рассказов «Шли дожди», «Часы с кукушкой». Член Союза журналистов СССР. Живет в Кемерове.

Бурмистров Борис Васильевич родился в 1946 году в Кемерове. Окончил Кемеровский химико-технологический техникум. Работал бульдозеристом на севере, механиком, главным механиком, заместителем директора завода. Его стихи публиковались в областных газетах. Живет в Кемерове.

Рубцова Тамара Ильинична родилась в п. Смежный Кемеровской области. Окончила Кемеровский государственный университет. Работает в заводской многотиражной газете г. Юрги.



Сдано в набор 28.10.85. Подписано к печати 29.01.86. ОП00070. Формат 70×90^{1/16}. Бумага типографская № 2. Печать высокая. Усл. печ. л. 6,44+0,29 вкл. усл. печ. л. Усл. кр.-отт. 8,63. Уч.-изд. л. 8,24. Тираж 7000 экз. Заказ 22515. Цена 50 к. Кемеровское книжное издательство. Полиграфкомбинат. Адрес издательства и типографии 650059, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5.

ВАТАГА

Повесть



1

Мы подходили к маслозаводскому омуту. Петька и Степка несли невод, Юрка — узел с нашей одеждой, а я — ведро, в котором плескалось десятка три пескарей да, может, пяток сорожек. Конечно, это была никакая не рыба. Настоящий улов всегда начинался отсюда — с маслозаводского омута...

Шагов за двадцать до него Петька всякий раз повелительно подымал руку:

— Ш-ша, пацаны!..

Галдеж обрывался. Все серьезнели. Ступали осторожно, чуть ли не на цыпочках. Уже возле самой воды Петька бросал на нас суровый взгляд: мол, чтоб никакого баловства, а то... Делал медленный вдох, полочнее брался за ручку невода и — в глазах азарт — пружинисто, как ловкий хищник, ступал в воду. Степка, чутко лова и понимая каждое его движение, каждый жест, — за ним. А мы с Юркой оставались пока на берегу: когда нужно, Петька подает команду, и мы расторопно бежим выгонять рыбу из камышей и осоки...

Так, говорю, было всякий раз. Сегодня же с самого начала рыбалки Петька был чего-то скучный и нервный. И чем ближе мы подходили к маслозаводскому омуту, тем все скучнее и нервнее становился Петька. На том месте, где обычно произносил свое «ш-ша», он приостановился и посмотрел вдаль, за эмтээсов-

ские омута. Потом с непонятной усмешкой посмотрел на нас троих и поскутился еще больше. Степка, Юрка и я украдкой от него тоже посмотрели на эмтээсовские омута. Но ничего такого, что заставило бы нас поскутиться хоть немножко, не увидели. По косогору к речке спускалось на дневное стойбище стадо коров, которое пасли Васька Монахов и Витька Суевалов. Ну и что тут такого? Подошло время дойки, вот коровы и спускаются.

Степка вопросительно уставился на Петьку. Тот досадливо нахмурил брови: — Ну чего?

— Я — ничего, — ехидно улыбнулся Степка. — А ты чего?..

Петька мотнул головой, хмыкнул, и мы пошли дальше.

На берегу Петька велел мне и Юрке расстелить невод. Мы расстелили. Петька по-хозяйски внимательно и придиричиво оглядел снасть, заметил на мотне прорвавшуюся ячею, и лицо его сделалось таким, как если бы он вдруг раскусил недозревшую ягоду калины. Присвистнул, сказал с укором всем нам:

— Ни-че-го себе — дыра.

— Да в нее даже гальян...

Но Петька не дал Степке возразить до конца:

— Говорю, еще раз заведем и будет — дырища.

Юрка кивнул на узел с одеждой:

— Я нитки прихватил.

— Да что — нитки? — вяло махнул рукой Петька. — Все равно рыбы нет.

— Так дошли же, — сказал я таинственным полупшепотом и скосил глаза на омут. — Давайте заведем. Может, щука...

— Говорят вам — дыра, — возвысил голос Петька.

— Так нитки же есть, — напомнил Юрка.

Петька ничего не сказал. Он опять посмотрел на эмтээсовские омута. Мы тоже посмотрели. Кроме коров, которые уже забрели в воду и помахивали хвостами, мы и теперь ничего особенного там не видели. Петька же что-то видел: лицо его сделалось совсем постным.

— Жарища, — сказал он так блекло, ровно был вконец разморен духотой и зноем, отошел в тень большого ивового куста, лег на траву и, что-то там про себя решая, стал смотреть на воду.

«Финтит. Хочет нас облапошить», — глазами сказал Степка мне и Юрке и шагнул к Петьке, спросил тоном, требующим прямого ответа:

— Заводить будем?

Петька сделал вид, что не расслышал, приподнялся на локте.

— А помните, пацаны, как Тарзан со скалы в воду сиганул? Мирово, да? Прямо вот так. — Петька подхватился, дерзко захохотал и солдатиком прыгнул с невысокого бережка в омут.

Нас окатило брызгами. Но никто не обратил на это ровно никакого внимания: мы были ошеломлены тем, что сделал Петька. Перед тем как завести в омут невод, не дай бог было кому-нибудь ненароком, уже не говоря, что с умыслом, звякнуть грузилом, обвалить с берега кусочек глины, хрустнуть попавшей под ногу палочкой сухого камыша, кашлянуть или там еще что — всякий за свою оплошку получал от Петьки доброго тумака. И это был вовсе не каприз предводителя, а напоминание растяпе: даже от малейших шумов рыба уходит. Тишина была первойшей заповедью при невождении. И вдруг заповедь эту грубо

и вероломно нарушает не кто-то, а самый ревностный блюститель ее — Петька. Как тут было не оторопеть?!

Петька вынырнул из глубины, отфыркался.

— А сегодня опять «Волгу, Волгу...» показывать будут. — Поманил нас рукой: — Давайте тоже...

Было яснее ясно: неводить он больше не собирается. Но почему, какая муха его укусила?

— Значит, так, да? — Степка смотрел на Петьку исподлобья, зло.

— Пацаны, да в такую жару... Давай-те лучше послезавтра сходим. — Петька набрал воздуха, перекувыркнулся в воде и показал нам «березку»: широко раздвинутые ноги и в седловине их — веточку. Мы все умели и любили показывать «березку», но сейчас эту Петькину мы приняли как насмешку над нами. И поэтому Юрка, как только Петька высунул голову из воды, сказал рокочущим баском:

— Завтра мы на твой покос не пойдем. Вот так.

— Не пойдем, — подтвердили я и Степка.

Петька встал на дно, вода доходила ему почти до подбородка.

— Нечестно! — рьяно возразил он.

Идти неводить предложил сам Петька, еще вчера, когда мы играли в лапту возле дома деда Сердюка. Предложив, он выставил условие: завтра неводим, а на другой день мы помогаем ему на покосе ворошить сено. Мы согласились, потому что невод был Петькин. Поначалу, правда, простодушный Юрка высказался в том смысле, что, мол, невод — это просто невод, снасть, а ворошить граблями под палящим солнцем сено, как ты не крути, — немножко другое. На такое Юркино рассуждение Петька спокойно, даже хладнокровно ответил в ином смысле: он, Петька, не какой-нибудь жмот вроде нашего ровесника Вострика, запросто даст нам свой невод, а сам пойдет в бор ворошить сено. Сказав так, он скромно

умолк, заботясь о том, чтобы равноправно сказали свое слово Степка и я. И мы сказали: «Заткнись, балда!» И Юрка заткнулся. Он осознал, что получить от Петьки невод было бы все равно, как если бы тот же Вострик перестал быть жмотом и дал кому-нибудь свой велосипед: катись на нем куда тебе хочется, только, уж, извини, он без руля. То же самое и мы, трое, с неводом, но без Петьки: много рыбы не поймаем. И вообще всякая затея без его отважного и умелого предводительства превращалась в бесполезную суетню или баловство. Петька знал это хорошо и, значит, знал себе цену...

— Нечестно, пацаны! — повторил с пылом Петька. — Мы же неводили...

— А где рыба? — жестко и ядовито сказал Степка и развел руки. — Рыбы-то — тью-тью... Не пойдем на покос. Баста!

— Значит, вы так, да? — произнес Петька с затаенной угрозой.

— Баста! — твердо повторил Степка.

Петька постоял некоторое время в раздумчивости, потом вышпятил губы, втянул полный рот воды, запрокинул голову, пулынул вверх тонкий фонтанчик, который достиг посильной высоты и обратился в серебряные гроздья. Гроздья расплощились на ловко подставленной Петькиной маковке. Это, чувствовалось, доставило Петьке маленькое удовольствие и немного уняло его досаду.

— Ладно, пацаны, я вам все честно... Вчера вечером, когда мы с вами уже столковались, зашел к нам Васька Монахов — молоко по дворам собирал — и говорит: «Завтра после обеденной дойки пойду на Кондому налимов вилкой колоть. На верхний брод». Ну я к нему и подсыпался: «Возьми меня». А он: «Ты еще маленький, а там быстрина — сне-сет». «Да не снесет, — говорю, — возьми...» В общем, пацаны, уговорил я его... — Ништяк! Вот это да! — разом вырвалось у всех нас.

— Я ж, ребята, не виноват, что так

вышло, — Петька смотрел на нас ангельски чистыми и честными глазами. — Вы б на моем месте как, отказались бы, да?..

В нашем большом селе, районном центре, две реки. Большая — Кондома, и маленькая — Теш. Детство всех мальчишек проходило на Теше. Со временем он становился — как становились короче штанишки — мелким, и мальчишки переходили на Кондому с такой же неизбежностью, с какой вливается в нее вода Теша, но, правда, не с такой быстротой. Когда взрослые парни собирались на Кондому рыбачить или купаться, мы, само собой, увязывались за ними. Но нам говорили разные до слез обидные слова: мелюзга, зеленые сопли, от горшка два вершка... Но уж если кого брали наконец, то он сразу же вырастал в глазах пацанов, ему страшно завидовали и уже относились почти как к парню... Васька Монахов согласился взять Петьку на Кондому. Притом сразу на верхний быстрый брод и сразу колоть налимов. Чертовски повезло Петьке! И, что скрывать, мы завидовали ему. Но в то же время в нас затеплилась надежда: сегодня пойдет с Васькой один Петька, а в другой раз мы пойдем уже всей ватагой — Петька кому хочешь докажет, что и Степку, и Юрку, и меня тоже пора брать на кондомскую рыбалку. По-доброму сейчас бы сказать Петьке: ладно, иди. Но мы не сказали, потому что Петька финтил, водил нас за нос. Это не по-дружески. И бесполезно теперь смотреть на нас так кротко.

Степка укорил Петьку:

— За двумя зайцами погнался.

Петьке это не понравилось. Кротость слетела с его лица.

— Ладно, сейчас, — сказал недобро и поплыл к берегу. Вскрабкался на него, выдернул из узла свои дыроватые трусы. — Ладно, — уколол каждого из нас суровым взглядом, и вдруг глаза его метнулись на другой берег. Петькины брови

вадрогнули и изогнулись, будто две столкнувшиеся на тропинке кошки.

— Пацаны, гляди! — Петька показал вперед пальцем.

2

Но мы уже и сами видели: на той стороне возле маслозаводской ограды стоит мальчишка наших лет, может, чуть помладше. Совсем незнакомый. И, показалось мне, совсем ненастоящий. Он напомнил мне пасху, вернее, разноцветно раскрашенные пасхальные яички: в мальчишке все было тоже празднично-разноцветное. Круглое румяное лицо, расшитая тюбетейка, желтая футболка, зеленые вельветовые брючки, синие носки и коричневые сандалии. И пирожок или сдобу — отсюда не различишь — он держал манерно-празднично: на весу, локоток немного на отлете.

Мы как некую диковинку рассматривали мальчишку с этого берега, мальчишка же с безмятежным любопытством рассматривал нас с того.

— Он как этот... Буратино, — насмешливо сказал Петька, ничуть не заботясь о том, чтобы мальчишка не расслышал его слов, скорее, даже наоборот — желая, чтобы он их расслышал.

— Пьерро, — поправил Степка небрежно и с ехидством, мол, хоть ты и предводитель наш, а сравнения выбираешь неточные, и посмотрел на Юрку. Юрка был среди нас самым начитанным и многознающим. Еще в третьем классе он записался в районную библиотеку и прочитал «Двух капитанов», в четвертом — «Дон Кихота», в пятом — «Анну Каренину», а сейчас, во время каникул, одолевал что-то тоже очень толстое и с таким мудреным названием, что язык сломаешь. За начитанность и многознание мы прозвали Юрку Академиком. И когда чего-то важного не знали или не понимали, обращались к нему. Вот и сейчас Степка хотел убедиться, верно ли он поправил Петьку, и посмотрел на

Академика. Академик просто и нисколько не заносчиво — он вообще никогда не заносился — кивнул, мол, да, Пьерро здесь будет поуместнее. И высказал свое предположение:

— Наверное, оголец из отдыхающих.

— Счас узнаем, — Петька звучно высморкался — он, бывало, так делал, когда репался на какую-нибудь выходку, — и крикнул на тот берег: — Здорово! — Приветствие прозвучало с прежней насмешливостью и вызовом, правда, — это на всякий случай, — не слишком явным.

— Здравствуй, — ответил мальчишка вежливо и с достоинством. Петьку это немного разочаровало. И он спросил уже с откровенным вызовом:

— Ну чо уставился, как теля на порося? — Петька утвердил черные от загара руки на белых бедрах, выпятил грудь, выставил вперед ногу, и вид его тоже сделался вызывающим и воинственным.

— Просто так, — пришел с того берега ответ — такой же достойный и вежливый.

Это уже было не по правилам знакомства. Петька в замешательстве посмотрел на нас, как бы говоря: «Это же хамство — так вежливо отвечать!» «Получается, что хамство!» — подтвердили мы взглядами. Петька хмуро сказал:

— За это полагается бить. — Швырнул в сторону свои дыроватые трусы, скомандовал: — Айда! — и ринулся в воду. Мы — за ним.

Наша ватага полукружием встала в шаг от мальчишки, который не переменял ни позы, ни безмятежного, даже какого-то равнодушного вида. Теперь, вблизи, он казался мне еще больше ненастоящим. Я хотел рассмотреть его получше, но глаза мои — да и, заметил я, всех остальных — вцепились в пирожок в правой немножко на отлете руке мальчишки. Судя по тому, как утонули в нем пальцы, — большой и указательный, — пирожок был совсем свежий, еще теплый. Мои пальцы даже явственно ощу-

тили мягкое тепло пирожка, хотя держали его пальцы мальчишки — большой и указательный, а три других были оттопырены, как у городских цап. И за это по нашим правилам его тоже надо было лупить. Но об этом мне даже не подумалось: пусть как цапа, но держал-то мальчишка свежий румяный пирожок, глядя на который я сглотнул слюну. Степка с Юркой, — заметил, — тоже. И Петька сглотнул, хотя и пытался это скрыть. Он хлопнул себя ладошкой по щеке, будто на нее села муха, и сказал: — Зараза!

Когда выговорил «зараза», он и сглотнул слюну, стараясь незаметнее. Но я все равно заметил.

— Отдыхающий, что ли? — спросил Петька у мальчишки, придав своим словам побольше неприязни, и покосился на пирожок так, будто оценивая, с какого конца его будет удобнее есть.

— Что? — не понял мальчишка.

— Ты, говорю, дачник?

— Нет, не дачник. Мой папа теперь директор маслозавода. — Мальчишка слегка качнул головой в сторону маслозаводской конторы, где, наверное, сейчас в кабинете с телефоном сидел его папа.

— Вот это да-а-а, — с напускной важностью протянул Петька, с усилием оторвал взгляд от соблазнительного пирожка, спросил с торжественным злорадством: — Тоже жулик?

— Кто?

— Пахан твой? До него трех директоров уже в кутузку упрятали, — второе приврал Петька. — Масло, творог и все остальное воровали, — глаза его не удержались на круглом румянном лице мальчишки, вновь соскользнули на пирожок.

— Мой папа не жулик, — сказал мальчишка со спокойствием, которое говорило о прочной убежденности сына в честности своего отца.

— Ну это мы после узнаем, — возразил Петька. Тонем своих слов он дал понять, что разговор про родительскую честность и жульничество не самый глав-

ный, а просто попутный и потому он закончен. Сглотнул, уже без утайки, слюну, кивнул на пирожок, спросил, будто тоже попутно: — Поди, с творогом?

— Нет, с рисом и яйцами. Хочешь? — мальчишка протянул Петьке пирожок.

Петька подчеркнуто гордо поднял голову, спрятал руки за спину и прищурился.

— Хм. Ты что, думаешь, я никогда пирожков с рисом и яйцами не ел? Ошибаешься. Если хочешь знать, я сегодня с одними яйцами ел.

— Не хочешь — не бери, — равнодушно сказал мальчишка.

И тут Петька снизомел.

— Ладно. Раз, говоришь, пахан твой честный-благородный, то так уж и быть — давай, — небрежно, ровно и взаправду делал одолжение, принял пирожок и, скользнув по нашим лицам быстрыми, как молния, насмешливыми глазами, провозгласил: — Сорок один — ем один! — и засиял от удовольствия, что мы прозевали момент, никто из нас троих не выкрикнул раньше Петьки «сорок», что обозначало: оставь, поделись.

Держа пирожок за самый кончик большим и указательным пальцами, остальные оттопырив, — передразнивал мальчишку, — Петька разверз рот, и пирожок медленно, целиком, по самые пальцы, скрылся в нем. Мы, трое, скорбно опустили глаза. И тут же подняли их снова. Встретив мой укоряющий взгляд: «Ну, имей совесть», Петька немного поколебался и вызволил изо рта примерно четверть пирожка. Послышалось сердитое сопенье Степки. Петька взглянул на Степку и, тоже поколебавшись, вызволил еще примерно четверть пирожка. Юрка был среди нас самый застенчивый. Он печально и томливо взглянул, как мне показалось, не в лицо Петьки, а лишь на его ухо и кашлянул. Кашлянул он так призывно и трогательно, что Петька и захотел бы, да не устоял перед этой трогательностью и безо всяких колебаний вызволил изо рта третью чет-

верть пирожка. После чего он одновременно зажмурился и сомкнул челюсти, острыми зубами отсек свою долю и, не открывая глаз, — чтоб не видеть, что осталось, и не травить зря душу, — отдал усеченный пирожок мне. Я добросовестно откусил полагавшееся мне и передал Степке. Степка, откусив свою часть, передал Юрке. Юрке, кажется, досталось больше всех. Я заметил еще раньше: последнему обычно или не достается ничего, или перепадает больше всех. А еще я заметил: если последний застенчивый, то ему перепадает всегда больше всех.

— М-м-м!.. Съедобно! — сказал Петька, проглотив свою часть пирожка и вытирая о живот пальцы. — Тебя хоть как звать-то? — спросил у мальчишки вполне миролюбиво.

— Валера.

— Чего-о? Ты это брось. Валерка — и все, — наставительно сказал Петька. — А я — Петр. Между прочим, Алексеевич. — Поднял вверх палец. — Понял? Но зови просто Петькой. Держи петуха, — протянул Валерке руку. — А вот этот, значит, — Вовка, мой двоюродный братишка. Это — Юрка. Еще мы его Академиком зовем: книжки, даже про любовь, как семечки щелкает. Ужасть сколько чего знает, ну и вообще. А Степка — Пирог. Не тот, что мы слопали, а — Пирогов. Пацан шустрый, только временами ему шлея под хвост попадает, и он ехидничает... А твой пирожок, говорю, ничего. Маушка стряпала?

— Бабушка Мара. Еще принести?

Петька немного подумал и сказал:

— Не, мы и так наелись. Правда же, пацаны?

Я нехотя угукнул. Юрка кивнул и сник. А Степка сказал ехидно, как бы подтверждая Петькины слова насчет его ехидства:

— Ага. Прямо до отвала...

Петька должен был это перевести: «Чего отказываешься, дурак...» Само собой, так он и перевел. Только дураком Петька не был. Сам смелый и отважный,

он больше всего ценил эти качества в других. Когда мы с того берега поплыли на этот, другой бы пацан на месте Валерки такого дал стрекача, что только пятки засверкали бы. А Валерка не струсил, один четверых нас. Это первое. Второе: сам щедрый, Петька не меньше, чем смелость и отвагу, ценил в людях и щедрость. Но не любил, когда на этом качестве начинают спекулировать. Пирожок с рисом и яйцами Валерка нам отдал? Отдал. Между прочим, сам отдал, без всяких там штучек. А что он сейчас притаил бы еще дюжину или сколько там пирожков, они все равно бы нас не насытили, потому что животы у нас бездонные, сколько ни дай — умнем и скажем мало. А вот что Валерка опять же сам предложил принести еще — это ценно, много ценнее самих пирожков, пусть бы они были хоть... да хоть с самим изюмом... Наверняка, Петька именно так и рассудил, потому что на Степкино ехидство обратил ноль внимания и спросил:

— Вы откуда приехали?

— Из Славгорода, — ответил Валерка.

— Это что — город такой?

— Город. В Алтайском крае.

Петька порассматривал Валерку, удовлетворенно кивнул, мол, конечно, город: у деревенских ни таких тюбетеек, ни штанов, ни рубашек нет.

— Значит, отец твой — директор маслозавода. А мать?

— Мама будет в райаптеке работать. Фармацевтом.

— Понятно, — Петька снова взгляделся в Валерку, что-то, показалось мне, намотал на ус, спросил: — Плавать умеешь?

— Нет, — сказал Валерка.

— Брось, — не поверил Петька.

— Правда. У нас там речки нет. И леса и гор тоже. Одна степь.

Мы все изумились: как это нет ни речки, ни леса, ни гор, а одна только степь?..

— Тогда что вы там, пацаны, делаете? — полюбопытствовал Степка.

— Как что? Все. Я, например, на велосипеде катался...

— На чем? — с живостью спросил Петька.

— Как — на чем? На своем, конечно. — Впервые за все время Валерка улыбнулся.

А Петькина правая щека нервно дернулась. Когда Петька делал какую-нибудь оплошность или попадал впросак и тут же осознал это, у него нервно дергалась щека, будто он сел на колючку и боль из того места, которым он сел, простреливала в щеку. Я понял, какую оплошность Петька сделал сейчас. Ни у кого из нас четверых своего велика не было. А из знакомых пацанов был только у Витки Вострикова. Ему подарил его родной дядя, когда в прошлом году приезжал с Севера в гости. Вострик был такой жадюга, что за все время дал Петьке прокатиться только два раза, и то во дворе клуба. Это самому Петьке, а уж про остальных и говорить нечего. Остальным Вострик не позволял даже прийтись к велику. Все мы с тоскливой завистью смотрели на востриковский и мечтали о своем велике. Но мечты наши были пока несбыточными: родителям об этом и не заикайся, «больше у нас денег некуда девать?» — а таких богатых, как у Вострикова, дядьев и тетей ни на Севере, ни на Юге у нас не было. Мы чувствовали себя обделенными судьбой. И вот перед нами пацан, у которого есть свой велик, который гоняет на нем сколько влезет и которому даже смешно, забавно, когда спрашивают, свой у него велик или нет. Своим необдуманным вопросом «на чем?» Петька сбросил покров и оголил нашу ущербность, которую мы скрывали. А это все равно, что сесть на колючку. Петькина боль была тем острее, что Петька — это было уже заметно — хотел поправиться Валерке, потому что Валерка ему уже правился. Да и всем нам, если честно, тоже.

Петька нарочно оборвал разговор о велике, будто не очень интересный, и спросил новичка:

— А неводить умеешь?

— Что? — не понял Валерка.

Тут уже мы с Юркой, как только что Валерка в ответ на Петькин вопрос о велике, улыбнулись, а Степка даже загоготал. Петька обернулся к нему и глянул так, что Степка сразу же присмирел. Мы с Юркой тоже.

— Значит, давай, Валер, так, — предложил Петька, — раздевайся, как вот мы, и пойдем рыбу ловить. Неводом — снасть такая, — вон на том берегу лежит. Ты рыбы принесешь, а баба Мара нажарит. Пока неводим, плавать научишься. Я, — Петька приставил палец к груди, — научу. Как, идет?

— Конечно, — согласился Валерка и благодарно посмотрел на Петьку.

— Но учти, за это я буду каждый день кататься на твоём велике. Ведь ты же не Вострик...

Нет, Петька, конечно, этого не сказал. Но это было понятно и так. Петька часто повторял, что и так понятное досказывают только те, у кого в голове вместо мозгов гречневая каша. А досказывают они для тех, у кого головы вовсе пустые, как футбольный мяч... Понятно было и то, что коль будет кататься на Валеркином велике Петька, то будем кататься и мы все.

Когда Валерка стащил с себя желтую футболку и мы увидели его белое тело, мы снова приснули.

— Кончай, пацаны, — сказал Петька, как все равно заслонил собой Валерку. — Загорит, подумаешь... Трусы, Валер, тоже скидывай. Ты ж видишь, мы... — тут Петька вопрошающе-требовательно посмотрел на Юрку-Академика.

— ...в костюмах Адама, — охотно подкасал Академик.

— Понял? Так что давай.

Валерка покосился на наши «костюмы», замаялся.

— Может, лучше я в трусах буду.

— Измажешь же, Валер, или об корягу порвешь.

— Да он боится, что щука у него тю-тю откусит, — вставил Степка, и мы,

трое, дружно засмеялись. Петькины щеки помимо его воли тоже стали разбегаться, но в это время послышалось с того берега:

— Петька! Резуненок!...

На серой пыльной дороге стоял Васька Монахов.

— Привет! — Петька энергично выбросил вверх руку.

— Ну что, пошли?

— Ты уже, что ли? — Петькина рука безвольно опустилась.

— Как договаривались.

Петькины глаза вспыхнули азартом, погасли. Он сделал шаг к воде, но будто кто-то невидимый положил сзади на его плечо тяжелую руку, и он, повернувшись вполоборота, посмотрел хмуро и что-то решая про себя на Валерку.

— Так ты идешь? — поторопил Васька.

— Да знаешь... — кисло начал Петька.

— Давай без «знаешь». Идти, так пошли.

Петька вздохнул.

— Не могу, Васьк, сегодня. Может, послезавтра?..

Васька махнул рукой.

— Чего тогда напрашивался? Трепло ты. — Перекинул через плечо серый резиновый плащ и зашагал по дороге.

Петька долго провожал его тоскливо-туманным взором, потом нервно сказал нам:

— Чего стоять-то? Раз собрались неводить, так давайте...

3

В маслозаводском омуте мы заводить не стали — рыба была уже перепугана. Здесь Петька преподавал новичку Валерке первый урок плавания. Для начала он с особым старанием и мастерством несколько раз показал «березку», чем и привел в веселый восторг своего ученика. Потом доходчиво объяснял, что и как надо делать в воде руками и ногами, показав все это на деле: не спеша, чтобы новичок смотрел и мотал на ус, про-

плыл от берега к берегу и обратно.

— Понял?

Валерка кивнул и по команде учителя плюхнулся в воду.

Вытаращил, как окунь, глаза и так суетливо и беспорядочно замахал руками, что его сразу же потянуло ко дну. Степка, Юрка и я усомнились в способностях нашего нового приятеля.

— Спокойно, Валер, спокойно, — сказал Петька. — Ногами работай и выше голову...

На Валерку это подействовало, и уже в следующий момент мы убедились, что пацан он и в самом деле с понятием: он поплыл. Конечно, сбивчиво, то и дело хватая ртом воду и яростно отфыркиваясь. Рядом с ним на боку плыл Петька, подбадривал, давал наставления:

— Хорошо, Валер. Только не торопись... Ногами, ногами живей...

Всю ширину омута — метров семь-восемь — Валерка одолел вполне благополучно, если не считать момента, когда он замешкался, сбился с ритма и стал окутаться в воду. Однако Петька вовремя подхватил его под живот, и Валерка снова поплыл. Когда он, шумно отдыхаясь, выбрался на берег и сел на траву возле невода, Петька опустился перед ним на корточки, цвыркнул слюной сквозь зубы, похвалил:

— Молодчина, Валер. Считаю, умеешь...

По-моему, в его в общем-то справедливых словах было многовато пылости. Но, наверное, в этом был свой смысл. Ведь чем выше и горячее похвала учителя, тем больше вселяется в ученика уверенности в свои силы. Однако подумалось мне и другое: если бы на месте Валерки был, к примеру, я, Юрка или еще кто из наших пацанов, все было бы не так. Петька нервничал бы и орал, срываясь на визг: «Бал-да! Да кто так... Не крути бестолковой! Ногами, ногами, дур-рак, дрыгай»... Кончился бы урок тем, что Петька, безнадежно махнув рукой, заключил бы: «Не, на воде ты — что клоун». Конечно, и в этом был бы свой

смысл: заниженная оценка способностей пробуждает самолюбие и заставляет упорно стремиться и дерзать. И все-таки похвала — она всегда милее ученическому сердцу.

— Оказывается, научиться плавать не так уж трудно, — сказал Валерка, отдышавшись.

— Да, конечно, Валер, — подхватил Петька. — А тебе так и вовсе — как дважды два.

Нет, даже Степке, которого Петька считал среди нас вторым — после себя — по ловкости, он вовек не сказал бы такого...

— Здесь заводить бесполезно — рыба ушла. Берите всё и айда где ива, — распорядился Петька, тронул Валерку за руку, и они пошли по прибрежной тропке к омуту, где росла купающаяся ива.

А мы, трое, пошли следом за ними. Я и Степка несли невод, а Юрка одежный узел и ведро с рыбой. Вообще-то, по нашим рыбацким правилам не полагалось, чтобы один пацан нес ведро и еще что-то, потому что все внимание должно отдаваться ведру, его надо беречь как зеницу ока. Между прочим, с легкой Юркиной руки мы часто его так и называли — Зеница Ока. «Поосторожней, все-таки Зеницу Ока несешь». Или: «Смени воду в Зенице Ока». Когда ты с Зеницей Ока продираешься сквозь заросли кустов, спускаешься с крутого берега или переходишь речку вброд по круглым осклизлым камням, то дрожишь за свою ношу не только сам, дрожит, затаив дыхание, вся ватага. К омуту, в котором купалась ива, путь лежал через полувысохшее болотце. Однажды здесь Юрка-Академик, рассеянный, как все профессора и академики, споткнулся о кочку, опрокинулся навзничь, и рыба выплеснулась, и мы ее долго выбирали из травы. По давню может споткнуться и сейчас. Поэтому наш вожак должен был взять у него узел или ведро. Однако не взял. Он даже не оглянулся и не напомнил Юрке, чтоб тот был поосторожнее. Но зато Петька взял новичка за руку повыше

локтя и, как кавалер барышню, провел через все болотце, хотя Валерка спокойно прошел бы и сам.

Степка покосился на меня, со значени-ем прищурил глаз, кивнул вперед: мол, видел? Я притворился, что не понял, к чему он это, и в свою очередь покосился на Юрку, который сопел возле моего плеча. Но тот так был сосредоточен на Зенице Ока, что ни до чего другого ему дела не было.

— Погоди, Степ, — остановился я. Подобрал волочившуюся по земле мотню, и мы пошли дальше.

4

Ива, вцепившись корнями в зыбкий берег омутка, росла почти горизонтально, утопив в воде половину своих ветвей. Если обходить их стороною, то между неводом и берегом, под купающимися ветвями, ускользнет много рыбы. А тащить снасть напропалую — значит порешить ее. Перед ивой Петька отдавал мне ручку невода, наказывал:

— Да не спи. Как скажу — ты сразу же... — И говорил иве, как если бы она была живой и все понимала: — Шалишь, дорогуша. — Вдыхал всей грудью, обеими руками обхватывал ствол толщиной с черенок лопаты и, морщась и багровея от натуги, подымал иву до уровня груди, потом подставлял под нее плечо и с кряхтением выпрямлялся во весь рост. Из воды высвобождались полумертвые ветви. Насобиравшие на себя тины, травы и прочей дряни, они тяжело колыхались, напоминая мокрые коровьи хвосты. Когда они подымались на такую высоту, что под ними можно было протянуть невод, Петька хрипло орал мне: — Тяни! Тяни!.. Да поживей ты, сонная тетька!..

Как только я минуя гирлянду «хвостов», Петька медленно приседал, хвосты снова погружались в воду. Петька утирал взмокший лоб:

— Фуф, заразина! Сегодня же приду с топором и изничтожу...

Говорил это, а сам был доволен, что может померяться с ней силой. Один! Никому другому из нас совладать с ивой пока не удавалось. Даже Степке. Петька с превосходством посмеивался: «Мало каши ели»...

Валерка, которому Петька велел пока ни за что не браться, а ко всему приглядываться и все мотать на ус, сидел на берегу. Петька загадочно ухмыльнулся, велел Степке, тянувшему невод вдоль другого берега, остановиться, и сам тоже остановился в шаге от купающейся ивы. Нашел глазами Юрку. Юрка был в травянистой части омута, готовый выгонять щук. Отдал мне ручку невода, шагнул к иве:

— Шалишь, дорогуша... Сейчас, Валер, ты кое-что увидишь, — и стиснул пальцами ствол ивы.

Все у него шло легче и лучше обычно. Ствол уверенно и плавно подымался вверх, из воды стыдливо высвобождалась безобразная гирлянда «хвостов». Перед тем как подлезать под иву, Петька скосил глаза на Валерку, чтобы увидеть, какое он производит впечатление на него, и дать понять: дескать, сейчас будет самое главное — наблюдай и завидуй. И то ли Петька увидел на лице Валерки не то, что хотел увидеть, то ли в этот миг он немного расслабился, то ли левая нога его подвернулась, то ли еще что, но Петьку повело винтом, и он плюхнулся в воду. Ветви ивы вдогонку, как надоедливое наглеца, стегнули его по спине.

Не показывался Петька долго. Наверное, он решил пережить свой великий позор в подводном одиночестве и заодно придумать какое-нибудь оправдание. Наконец он вынырнул, открыл рот, чтобы вдохнуть, да так и остался: на его месте стоял и держался за ствол ивы новичок. Ива, будто застигнутая врасплох дерзостью другого откуда-то явившегося наглеца, ничуть не сопротивлялась, и Валерка, казалось, безо всякой натуги, подымал ее все выше и выше. Пришла она

в чувство, лишь когда Валерка поднял над самой головой и где-то у самого основания ее что-то треснуло, будто ива панически вскрикнула: «Что ты со мной, негодник, делаешь?!» Валерка не обратил на это никакого внимания, он сказал деревянно скрипящим голосом:

— Все!..

Теперь уже у нас у всех были открыты рты, и все мы остолбенели.

— Все, — повторил Валерка. Он держался из последних сил, руки его мелко подрагивали.

— Тяни-и! — первым очнулся Петька. Оттолкнул меня в сторону, подхватил ручку и потащил невод под истекающую грязью гирлянду «хвостов». Когда миновал ее, скомандовал Валерке:

— Бросай!..

Валерка отнял от ивы руки, отпрянул назад, опрокинулся навзничь и враз с гирляндой окунулся в воду. В отличие от Петьки, сразу же вынырнул и, немного ошалелый, на четвереньках полез на берег. На локтях его и розовых полупшариках ягодич были нашлапки ила.

Улов был так себе, средний. Но зато в мотню забилась приличная щучка — такое в этом омуте случалось редко. Сейчас ее, наверное, послал сам господь бог, чтобы Петька поскорее оправился от своего конфуза. Нашему предводителю очень уж нравилась крупная рыба. Как только они с Степкой вытаскивали снасть на берег, Петька бросал ручку и беспокойно выискивал среди пескарей, гальянов, сорожек и прочей мелочи самую крупную рыбину, с приплясом подсакивал к ней. Выпутывал из невода, стиснув зубы, ломал ей лен, клал на ладонь, слегка покачивал, потом замирал и наострял слух, как бы для того, чтобы услышать голос кого-то, никому, кроме одного Петьки, не слышимого. Когда этот кто-то, никем не слышимый, сообщал ему вес рыбины, Петька сообщал его нам: «Четыреста грамм!» — и, нежно тронув пальцами оранжевый плавник, опускал рыбу в ведро.

Если судить по тому, как сейчас Петька совсем равнодушно вызволил щучку из мотни, как молча и зло сломал ей лень, как, даже не «взвесив» ее, бросил в ведро, то конфуз его с ивой лег ему на душу тяжелым камнем. Когда мы все, и новичок тоже, стали выбирать из невода пескарей и сорожек, Петька отошел в сторонку, сел на песок, обхватил колени руками и, глядя на воду, о чем-то задумался. Он нервно и досадливо покусывал то нижнюю, то верхнюю губу и, походило, пытался в уме что-то с чем-то связать — какие-то, видно, упрямые мысли. Вроде наконец связал: перестал кусать губы, вытянул их в ниточку и цвыркнул сквозь зубы. Капелька слюны описала дугу и разбилась о водную гладь. Это была как бы точка в конце раздумья.

— Валер, — позвал Петька, не отрывая взгляда от воды. — Валер, давай кто чью руку на локте перетянет.

Предложил это Петька нарочито сдержанно, чтобы внушить всем нам и в первую очередь Валерке, что сам он к тому, что предлагает, относится несерьезно, просто ему захотелось малость поразвлечься.

Валерка охотно согласился.

И вот они улеглись на животы, утвердили на песке локти. Руки — до черноты загорелая Петькина и белая нежная Валеркина — скрестились, сжали одна другую, и образовалось подобие одинокого стропила на строящемся доме.

— Приготовились, — сказал Степка, которого Петька назначил судьей. — Внимание... Н-начали!..

Стропило качнулось влево, потом вправо и, мелко-мелко задрожав, остановилось. И вдруг резко, с силой упало и впечаталось казанками Петькиных пальцев в песок, но тут же в мгновение ока описало полукружие и впечаталось в песок казанками Валеркиных пальцев.

— Нечестно. Ты схитрил, — очень спокойно сказал Валерка.

— Да ничего я не схитрил, — Петька глянул на Степку и подмигнул ему.

Когда Петька назначал Степку судьей, он тоже незаметно и вкрадчиво подмигнул ему. Однако Степка сделал вид, что никакого подмигивания не заметил, чем и дал понять, что судить он будет честно. Конечно, Петька знал это наперед, но все равно назначил судьей Степку. А не меня или Юрку. Нас с Юркой он считал большими ротозеями и путаниками. Благо, если б мы путали и ротозейничали в пользу одного Петьки, а то ведь мы напутаем и в пользу его противника.

— Не хитрить, — сухо, как и подобает честному судье, сказал Степка. — Приготовиться снова. Внимание... Н-начали!..

Петька собрал все силы, и стропило накренилось в его сторону. Валерка тоже собрал все силы, стропило поднялось и стало клониться в другую сторону. Оно плавно клонилось до тех пор, пока Петькина рука не коснулась песка. Петька досадливо крикнул, правая щека его нервно дернулась.

— Еще раз! — сказал он торопливо, чтобы опередить приговор судьи и не дать передышки противнику. А значит, и себе. Но об этом Петька уже не думал, он начинал всерьез злиться.

Противники сомкнули ладони. Судья скомандовал:

— Н-начали!..

Когда мы были поменьше, несмышленнее и шептливее, пацаны постарше и взрослые парни, бывало, подталкивали нас, как петухов, друг к другу, просили: «Петь, Вов, а ну-ка, кто кого сильнее — поборитесь». И мы на потеху зубоскальной толпе сцеплялись... Чего скрывать, чаще одолевал меня Петька. Уложив на лопатки, спрашивал: «Сдаешься?». Я признавал себя побежденным, говорил: «Сдаюсь». Петька отпускал меня, отыскивал свою шапку, ронял важно и снисходительно: «Мало каши ел» и протягивал мне руку, в знак того, что борьба была честной. Потом оборачивался лицом к болельщикам и получал заслуженные

награды: похвалы, возгласы одобрения, похлопывания по плечу. А мне, побежденному, оставалась лишь тайная надежда, что уж в следующий-то раз непременно одолею Петьку и подыму свою уроненную честь. И, случалось, я одолевал Петьку. «Сдаешься?» — спрашивал сидя на нем и прижав его руки к земле. Петька извивался, злился и требовал: «Нет, давай снова!» Мы сцеплялись снова, и я снова укладывал Петьку на лопатки. Я даже наперед знал, что уложу. И мне не столько помогала радость победы, сколько мешала Петьке его злость: злясь, он терял собранность. И я побеждал вновь. А Петька злился еще больше. «Все равно я сильнее! Давай еще раз...» В третий раз я одолевал его еще легче и быстрее. Петька совсем выходил из себя, бледнел, замахивался и норовил мне заехать по сопатке... Нас растаскивали.

Так же было и теперь. Петьке понравилось, что новый пацан не трус и не жадина. Поправилось, что хоть он и городской, но не ставит из себя. И Петька снизошел: ладно, мол, разрешаю тебе со мной постоять, поговорить. Понравившись больше — может, даже разрешу и дружить с собой. Но вдруг выяснилось: у пацана есть свой велосипед. И отношение Петьки к новичку переменялось: взял его под свою опеку, стал во всем услужать, угождать. Но, конечно, не до такой степени, чтобы перестать чувствовать свое превосходство перед Валеркой. Когда он хвалил его за ловкость и сноровистость на воде, то, само собой, думал: но я намного сноровистей и ловчее тебя. И гораздо сильнее. А Валерка взяла да и утер ему нос: почти запросто поднял купающуюся иву. Петьке разумнее бы всего «не обратить» на это внимания, — что так хорошо умел в других случаях, — а он, чтоб все-таки взять верх, затеял бороться руками. Валерка осилил его. Осилил и в другой, и в третий раз... Потому что Петька исходил злостью и растерял всю свою собран-

ность. Если бы на месте Валерки был кто-нибудь из наших, Петька наверняка уже пустил бы в ход кулаки. А перед Валеркой сдержался: новичок, городской, а главное, у него есть велосипед, а может быть, и еще кое-что позаманчивее. И Петька, чтобы показать, что он равнодушен к своему поражению, принудил себя улыбнуться.

— А ты, Валер, ничего, сильный, — сказал с игривой снисходительностью все-таки более сильного. — Где так наторел-то?

— Как где? Я боксом занимаюсь, — ответил Валерка просто, без капли заносчивости.

— Не ври! — пылко сказал Петька. Но не потому он это сказал, что не поверил Валерке, а чтоб скрыть за этими словами свое удивление. — Может, скажешь, что у тебя и перчатки есть?

— Есть.

— Не ври! — опять сказал Петька и опять с той же целью: боксерские перчатки никто из нас «живьем» еще не видел, только в киножурналах и совсем недавно в новом кинофильме, который так и назывался — «Первая перчатка».

— Между прочим, Петя, я никогда не вру, — заметил Валерка.

— Ну и зря. Бывает, Валер, полезно и соврать, — наставительно сказал Петька.

— Кому полезно?

— И тебе, и кому врешь. А раз всем полезно, то это не простое вранье, а божественное, — Петька посмотрел на Академика.

Академик, как всегда, охотно и скромно поправил:

— Святая ложь.

— Святая. Понял, Валер. Так один очень великий человек сказал...

Валерка отрицательно мотнул головой.

— Нет. Святая ложь — одно, а просто ложь, вранье — совсем другое. Мой папа говорит: лгут — слабые.

Мне подумалось, что этот новичок обязательно понравится Александру Павловичу, нашему учителю математики и фи-

зйки, который любит четкие и, главное, умные ответы и рассуждения учеников. Валерка сейчас сказал четко и умно. Это ничего, что он повторил слова своего отца. Повторять можно по-разному. Валерка повторил с убежденностью. А это тоже нравится Александру Павловичу. Может, даже нравится пуще всего. Он нам все напоминает: «Люди редко что выдумывают сами. Чаще они повторяют. Повторяйте, но с верой, убежденно. Без убежденности будет одно лицемерие, вранье». Вот как, опять — вранье. Александр Павлович немного картавит, и у него получается: «вланье». Но это совсем не важно. Важно, что опять — вранье... Однако вот какая странность (это я уже так, между прочим): Вострик, когда началась война в Корее, стал по секрету всему свету говорить, что его дядю, который подарил ему велик, скоро пошлют не в нашу, а в американскую Корею, и он будет там нашим шпионом. Вострику, конечно, никто не верил. Над ним просто смеялись. Но чем больше над ним смеялись, тем с большей убежденностью он врал про своего дядю — в этом и была странность. Как так может? — долго недоумевал я. И вот теперь, после Валеркиных или его отца — какая разница? — слов, я понял: вполне может. У разных людей слабости разные. К примеру, у Вострика, — ему все на это намекают, — слабость умственная. Тут и вся разгадка. Я с благодарностью посмотрел на Валерку, и он показался мне старше нас всех. Когда увидел первый раз, показался немного младше, а теперь — старше. Тоже немного странно. Но, кажется, — понятно.

А Юрке, так наверное, Валерка теперь казался вообще взрослым. После его слов наш Академик сник, потупил глаза и даже чуть-чуть покраснел, будто очень, совсем слабый, он всю жизнь только и делал, что беспрестанно и бессовестно врал, и вот сейчас был жестоко разоблачен.

Степка же, уже освободившийся от

судейской строгости, обрадованно и звучно ударил в ладоши, язвительно загоготал и показал на Петьку пальцем:

— Точно! Слабак! С самого утра...

— Пошел ты, знаешь куда... Трепло, — сказал Петька тоже зло, но сдержанно — умел, говорю, сдерживаться — и отвернулся от Степки. Не до выяснения отношений с ним было Петьке. Сейчас его волновали Валеркины боксерские перчатки. Узнав про них, он великодушно простил новичку победу над собой и сделался немного игривым. Но некстати вклинился разговор о вранье. Чтобы пресечь его, Петька и сдержался против Степкиного выпада.

— Валер, а они у тебя, — Петька принял стойку, сжал кулаки, энергично побокси́ровал перед собой, — настоящие?

— Конечно, настоящие. — Как и тогда, в разговоре о велосипеде, Валерка сдержанно улыбнулся.

— А ты перед тем как... — Петька снова побокси́ровал, — витамины ешь?

— Какие?

— Ну разные там: «А», «Б», «В», «Г», «Д»...

Валерка повел плечом: мол, а я что-то о них и не думаю.

— Ты что-о? — изумился Петька. — Наш физрук все время говорит: спортсменам полезно.

Эти Петькины слова были маленьким примером его «божественного вранья»: про витамины нам не физрук говорил, а фельдшерица Клавдия Ивановна. «Чтобы вы чувствовали себя здоровее, — говорила она, — побольше ешьте овощей, в них много витаминов. А еще витамины в виде горошин продаются в аптеке».

— Я тоже давно хочу боксом заняться... Твоя маманя, Валер, как, может принести витаминов? — осторожно спросил Петька.

— Да они, кажется, у нас и дома есть...

Петька остался доволен. Он протянул Валерке руку:

— Давай подружмся.

Валеркина рука с готовностью поднялась к Петькиной.

— Дружба, — сказал Петька.

— Дружба, — сказал Валерка.

— А нас, троих, будто здесь и не было...

5

Перед энтээсовскими омутами в узкой и длинной заводи в невод попала еще одна щучка, намного крупнее давешней. Петька, конечно, первым делом заметил ее. Цепко схватил рыбину обеими руками, рыбине это не понравилось, она стала извиваться и яростно хлестать хвостом по Петькиным запястьям.

— Вре-ешь, дорогуша, не уйдешь, — Петька подошел к Валерке: — Ну-ка, сломай ей лен.

Ломать крупной рыбине лен — у нас было не просто прихотью. Во-первых, мы — по своей наивности, конечно, — верили, что если щуку бросать в ведро, то она тут же сожрет всю мелочь; во-вторых, щука запросто может выпрыгнуть из ведра в самый неподходящий момент — значит, ей надо сломать лен. Делал это Петька всегда сам. Никому не доверял, потому что, говорил, не хочет, чтобы мы на всю жизнь остались калеками.

— Это вам не пескарь. За палец хватанет — тью-тью пальца.

Вот уж в эту-то Петькину басню мы уже давно перестали верить и всякий раз приставали:

— Ну дай, я сломаю, а...

— Тут, дурачок, сноровка нужна. А у тебя она откуда, если ты ни разу не ломал.

В тебе, конечно, вспыхивает справедливое возмущение, мол, потому и не ломал, потому и сноровки нет, что — не даешь. Однако высказать это вслух не успеваешь: Петька, глянув тебе в лицо, говорил вежливо, даже почти нежно:

— Вов, утри нос, а то, знаешь, как-то...

Александр Павлович после долгих и

настойчивых внушений сумел-таки убедить нас, что самые большие конфузы для «молодцов» — незастегнутые «амбары» и «свежие» носы. И пусть мы еще не наловчились как следует избегать этих конфузов, но стали конфузиться всякий раз, когда нам на них указывали, — что само по себе уже было саженым шагом вперед к усвоению правил общей культуры... Так что, услышав вежливое, даже почти нежное Петькино замечание, ты смущенно отвернешься и машинально проведешь по верхней губе ладонью туда и обратно. А Петька тем временем, — ты видишь это краем глаза, — поджимает голову рыбины книзу до тех пор, пока не хрустнет шейная хребтина. После этого рыбина считалась уже безопасной, и Петька опускал ее в ведро...

— Возьми ее, Валер, вот так и... — Петька показал немного растерявшемуся Валерке, как надо ломать щуке лен, взгляд его при этом говорил: «Скоро эта рыбочка будет твоей...»

Валерка осторожно принял от Петьки щуку. Она, словно обрадовавшись, что перешла из цепких Петькиных рук в другие, никогда еще не державшие живой рыбы, ворхнулась с такой прытью, что Валерка вздрогнул, отпрянул назад, пальцы его расслабились, щука шлепнулась на песок и заподпрыгивала, приближаясь к воде.

— Дер-жи! — крикнул за моей спиной Петька.

Я, как подстегнутый бичом, ринулся вперед и со всего маху рухнул наземь. Только мои пальцы коснулись влажнелипкого хвоста, рыбина подпрыгнула в последний раз, плюхнулась в воду и будто растворилась в ней.

— Раззява! — заорал на меня Петька и сжал кулак. — Вот как щас заеду по сопатке!..

— Это я виноват, — растерянно сказал Валерка.

Петька не обратил внимания на его слова, продолжал распекать меня:

— Хватать надо, а он как этот!.. Щас отвешу пенделя, и пошмалюсь домой! Получишь ты сегодня рыбы, жди...

— А... А... а... — что-то пытался втиснуть Юрка меж Петькиными словами, но промежутки были так малы, что втиснуть ему ничего не удавалось.

— Это я виноват, — снова сказал Валерка. Уже с настойчивостью.

Петька снова пропустил его слова мимо ушей.

— В самом деле, чего ты на Вовкуто, — подал возмущенный голос Степка и кивнул на Валерку, мол, слышишь, он даже сам признает свою вину, вот на него и ори.

Петька переметнул взгляд с меня на Степку. Правая Петькина щека легонько дернулась. Она дернулась будто для того, чтобы согнать с лица гнев и суровость. Так лошади подергиванием кожи сгоняют с себя надоедливых мух и кроважидных паутов. Легко сделавшись благодушным, Петька махнул рукой, сказал совсем с напускным безразличием:

— Да шут с ней, со щукой. Еще поймем. Правда же, пацаны?..

— А-а-а, сразу «шут с не-е-й», — уличил Юрка с намеком и с таким ехидством, как не получилось бы и у Степки.

Петькина щека снова дернулась. Словно для того, чтобы теперь согнать с лица благодушие. Он шагнул к Юрке и замахнулся. Отшатнувшись, Юрка впилился в узел с одеждой. Воротничок ярко-желтой Валеркиной рубашки оказался под грязной Юркиной пяткой. Юрка глянул вниз, отступил в сторону, смущенно сказал Валерке:

— Прости, я нечаянно.

— Да чепуха, — сказал Валерка.

Петька же думал по-другому. Нацелив указательный палец на воротничок, на котором серели крапины песчинок, потребовал:

— Отрихни.

— Но я же нечаянно, — заупрямился Юрка.

— О-трих-ни...

— Тебе же говорят: нечаянно, — Степка смотрел на Петьку косо, на губах — язвительная ухмылка.

— Отрихни, а то точно садану...

И тогда Валерка сказал:

— Ребята, если из-за меня у вас начинается ссора, то мне, наверное, лучше уйти...

Валеркины слова, он проговорил их почти со взрослой внушительностью, подействовали на Петьку. Предводитель наш сделался вдруг покладистым и деловым:

— Ладно, пацаны, не будем зря время терять. Давайте дружно соберем улов да двинем дальше... — и первым опустился на корточки перед неводом...

6

Щуки начинали попадаться с маслозаводского омутта. Правда, редко и небольшие. Но чем ближе к эмтээсовским омутам, уже за селом, тем чаще и крупнее. А мелочи ловилось все меньше.

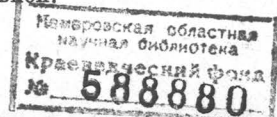
Петька то и дело стал подгонять нас:

— Давайте, пацаны, поживее. Чего вы как эти...

Он торопился к эмтээсовским омутам. И было яснее ясного, почему. Пескари да сорожки — смех, не рыба. А щук у нас в ведре всего одна. Да и та квеленькая. Петьке хотелось поскорее поймать настоящих, чтобы удивить, а потом и одарить ими Валерку. Не просто же за красивые глаза он будет кататься на его велике, боксировать в его перчатках и есть витамины.

Конечно, всем, чем поживится у Валерки, Петька станет делиться с нами, своими закадычными друзьями — мол, знайте, я не скупердяй. Знаем, щедрый. Только на этот раз мы еще подумаем, принять что-нибудь от тебя или погодить. Пусть мы не на три аршина видим в землю, но кое-что глаз тоже охватывает...

Когда подходили к первому эмтээсовскому омуту, Степка хмыкнул, сказал с издевкой:



— Ухлястывает, как за девчонкой, — и кивнул вперед, на Петьку, который одной рукой держал под локоток Валерку, а в другой нес одежный узел. Кстати, когда мы переходили от омута к омуту, узел всякий раз брал Валерка. Петька не давал: «Да сами, Валер, донесут. Юрк, ну-ка...» «Но мы же порошние идем», — настаивал Валерка. Петька уступал: «Тогда попеременно понесем», — и через два шага отнимал у Валерки узел.

— За чечевичную похлебку продает нас, — пробасил Юрка.

В это время Петька обернулся:

— Чего как черепахи. Давайте быстрее...

— Шагай, догоним, — сказал я.

Конечно, ничего такого, обидного, моих словах не было. Но Петьке не понравился мой независимый и немного насмешливый тон, которого, правду сказать, я и не собирался скрывать. Петька придержал шаг, потряс головой, проговорил:

— Эх-х, деревня...

Пусть не совсем к месту, но тоже — слова как слова. Мы часто, когда кто-нибудь из нас делал или говорил какую-то неуразу, смеялись: «Эх-х, деревня...» Звучало это как обыкновенная подначка, которая никого не обижала и не унижала. Даже наоборот, посмеиваясь так друг над другом, мы как бы одновременно друг друга и подбадривали: пусть бываем порой растяпами и фетюками, но в общем мы ничуть не хуже некоторых городских воображал, которые пренебрежительно и совсем не шутя называют нас «деревней», а сами не могут отличить на лужайке корову от гуся. Сейчас же Петька сказал это без подначки и без всякого подбадривания. Он сказал так, чтобы унизить меня и одновременно Юрку и Степку и возвысить себя. Дело в том, что родился Петька в городе Сталинске. О чем, как бы к слову, но со значением уже сказал Валерке. Но отом, что сюда, в наше село, привезли его

грудным младенцем и с тех пор он и в каких городах никогда — разве что, как и мы же, во сне — не бывал, — об этом он Валерке, конечно же, не сказал. И получалось, что неравенство между ними немного уменьшилось. Петька проиграл Валерке в силе, у него нет велосипеда, боксерских перчаток и нет матери аптекарши, но зато они оба — городские. А мы трое — «деревня».

Петька пнул попавший под ногу сухой конский котяшок, и они с Валеркой пошли дальше. Мы услышали, как Петька хвастливо сказал:

— Сейчас, Валер, мы хорошую щучину поймем... А может, и две сразу. Первый эмтээсовский — знатный омуток.

Степка, Юрка и я переглянулись, приотстали. Степка зашептал:

— Давайте договоримся так...

7

Степка старательно тащил свою сторону невода, Петька — свою. Потом они остановились. Петька властно, как и подобает главному в ватаге, скомандовал мне и Юрке:

— Гоните!

Валерка усердно и добросовестно мутил воду в узеньком промежуточке между берегом и неводом с Петькиной стороны: снасть наша была короткой и не перекрывала полностью омут. Вот Петька и поручил Валерке мутить ногами воду возле себя.

Мы с Юркой шумно, с гиканьем и воплями — «чтоб каждая засоня проснулась» — погнали рыбу из осоки и камышей. Как и положено, метрах в трех от невода остановились и заболтали ногами на месте. Тогда Петька скомандовал:

— Подсекай!..

Степка проворно стал подсекать — потащил свою сторону невода наперерез нам с Юркой к отлогому берегу.

— Живей! Живей, бал-да! — нервничал Петька. — Момент сейчас был самый важный. — По дну тащи!..

Степка, прикусив нижнюю губу, старался изо всех сил, от усердия у него лезли на лоб глаза, и он пыхтел, как паровоз. Но вдруг резко остановился.

— Вот зараза! За корягу зацепился.

— Да ты ш-што, — зашипел Петька, — какие тебе здесь коряги!..

— А я знаю, какие? — огрызнулся Степка. Передал мне ручку, присел в воде, нашарил руками нижний шнур, дернул за него раз, потом другой. После третьего, как мы и условились, я уронил ручку. Невод обвял и стал беспорядочно свертываться. Я мысленно похвалил себя и Степку за слаженность и приготовился к тому, как сейчас Петька начнет рвать и метать. Но он всего лишь простонал:

— Растяпы-ы...

Походило, что он догадался о нашем разговоре. А орать остерегался: Валерка тоже может все понять и подумать, что он, Петька, никакой в нашей ватаге не главный, если ему подстраивают такие вот штуки.

В неводе было полно тины. В ее зеленых куделях трепыхалось несколько шальных сорожек. Щуками же, конечно, и не пахло. Петька, сердито сопя, небрежно брал тяжелые, истекающие водой куделины и швырял их обратно в омут вместе с сорожками, которые были совсем маленькие. Правда, одна была нормальная, даже, можно сказать, крупная, но Петька выбросил и ее. Не просто выбросил, а зло, чуть ли не с зубным скрежетом смял в кулаке тину вместе с сорожкой и с размаху ударил этим комком об воду.

— Чего ты звереешь-то? — недовольно заметил Степка.

На Петькиных скулах заиграли желваки. Я представлял, как ему хотелось разорваться, распалиться и закатить каждому заговорщику по хорошей затрепиче. В первую очередь, разумеется, Степке. Но Петька сдержался и теперь. На Степкино же замечание сказал спокойно, но по-предательски неожиданно.

— А ты Любку Кречетову охмуряешь.
— Чего-о? — и Степкины щеки зарделись.

— А что слышал, — сказал довольный собой Петька.

Степка удивленно и вопросительно посмотрел на меня.

Я потупился и почувствовал, что тоже краснею...

Несколько дней назад мы со Степкой ночевали у нас на сеновале. Перед тем как уснуть, долго разговаривали про всякие наши дела, рассказывали смешные побасенки и разные жуткие истории. Потом поворочались с боку на бок, устраиваясь поудобнее, и затихли. Я уже стал засыпать, когда Степка шепотом позвал меня:

— Вов?

— Ну.

— Вов, а тебе на Казбеке верхом охота прокатиться?

Казбек — это племенной колхозный жеребец. Был он вороной масти, с гладкой лоснистой шерстью. Мышцы все время, будто ему было холодно или он чего страшился, подрагивали, а глаза яро, даже как-то дико горели. Все мужики Казбека побаивались, даже конюхи. На водопой водили только в поводу и то и дело боязливо оборачивались. Изредка Казбека запрягали в кошевку, и председатель Пивоваров ехал на нем в район. Жеребец неторопливо пританцовывал и просил повода. Но Пивоваров осторожно сдерживал его: «Чш-ш-ш, чш-ш-ш...» А чтоб кто-то взобрался на Казбека верхом, такого мы ни разу не видели.

— Ты что — сразу расшибет, — ответил я Степке с боязнью, будто он велел мне взнуздать Казбека.

— А я б — запросто, — Степка, как бы обрадовавшись моей трусости, оживился, приподнялся на локте. — Эх, стрелой бы на нем полугу, чтоб ветер в ушах и чтоб дух заходился... Любка Кречетова сморит, как я скачу, и у нее тоже дух заходится...

— А у Любки почему? — не понял я.

Степка немного замаялся.

— Ну... просто так...

Мы сколько-то времени помолчали. Потом он опять спросил:

— Вов, а по-твоему, как взрослые парни узнают, что они нравятся девушкам?

— Не знаю.

— Я тоже, — сказал Степка с сожалением.

Кажется, я обо всем догадался.

На другой день пошел к Юрке и как бы между прочим спросил у него о том, чего мы со Степкой не знаем, но что он-то уж наверняка знает, иначе какой же он Академик.

Юрка замер и стал к чему-то прислушиваться. Я тоже прислушался, и мне померещилось, что из его головы исходит какое-то шуршание. И я вообразил, что Юркина голова до отказа напичкана множеством шариков. Каждый шарик — какое-нибудь знание. Сейчас Академику понадобился шарик, который находится где-то в затылке. Из затылка он пробирается вперед, а другие уступают ему дорогу — отсюда и шуршание.

— Это совсем просто, — по-ученому сухо начал Академик и понес какую-то околесицу про сердце, душу, знаки внимания, чувства и еще о многом таком, что, проникая в мою голову, обращалось в сплошной туман. И я сказал:

— Все ясно, Юр. Хватит.

От Юрки я прямым ходом пошел к Петьке.

Услышав мой вопрос, Петька тоже на какое-то время замер. Потом в его черных глазах запыгали, завеселились чертики, и он задал мне тот вопрос, которого я больше всего и опасался:

— Кто?

— Да один человек. Какая разница.

— В том-то, братишка, и дело, что большая. Все разные, значит, разным манером и действуют. Ну?..

— А — тайна?

— Вов, о чем спрашиваешь? Могилы!

— Степка, — сказал я.

— А она?

— Да какая разница...

— Какой ты, право, Вов. Большая.

— Любка Кречетова. Только тоже — тайна.

— Какой разговор, — и Петька склонил голову набок словно для того, чтобы хорошенько запомнить, что ему доверена тайна, которую из всех сил надо хранить. Потом он сказал: — Значит, Вов, это совсем просто. Главное, не быть лопухом, обнять, и сразу все станет ясно.

— Как это? — не понял я.

— Ну вот, к примеру, я — Степка, а ты — Любка, — Петька стал рядом со мной, завел сзади свою руку, пропустил мне под мышки. — Если она ничего, оплеуху не отесит, значит, ей нравится, значит, разрешит поцеловать.

— Поцеловать? — я почувствовал, что меня прошибает пот.

— Поцеловать, — подтвердил Петька. — И надо разговаривать не про картошку, а про любовь... Вот так, Вов. Счень, говорю, просто.

В самом деле, все было необыкновенно просто. До того просто, что я не знал, как это сказать Степке. Решил: пока не скажу ничего, а там видно будет...

Перед тем как уйти, напомнил Петьке:

— Так смотри, никому.

Петька даже обиделся:

— Вов, за кого ты меня принимаешь...

И вот сам...

— Ты выдал тайну, — сказал я Петьке, и кулаки мои сжались.

— А я от кого узнал? — Петька подбоченился, подался боком ко мне. — От кого? А?.. Вот и заткнись. И вообще — если неводить, так неводить. Берите все, и пошли...

Мы, трое, стояли и молчали.

— Слыхали? — требовательно сказал Петька.

Степка пощурился на солнце.

— Да, поди, уже хватит.

— И невод вон изорвался, — Юрка ука-

зал на ту самую дырочку в мотне, которую Петька сам обнаружил еще у маслозаводского омута.

— Так у тебя ж нитки есть, — Петькин тон немного понизился.

— Что—нитки? Все равно рыбы нет,— сказал я давешними Петькиными словами.

А он возразил мне моими давешними:

— Так дошли же. Самые щучьи места.

— Еще раз заведем, и будет дырища...

До Петьки наконец дошло, что мы глумимся над ним, он насупился, но сказал совсем мягко:

— Кончай, пацаны. — Наклонился, взял ручку невода. — Айдайте.

— Нет. — Я наступил на другую ручку.

А Юрка своим баском неожиданно для всех провозгласил:

— Рабы — восстали!

— Чего-о-о? — прищутив один глаз, пропел Петька, будто не понял. Ему нужно было выиграть время и сообразить, как быть дальше: все-таки восстание рабов — это уже что-то новенькое.

Хитрый взгляд может притвориться простодушным. Простодушный же хитрым — никогда. Это, может, самая большая слабость простодушных. И Юрка повторил своим солидным баском:

— Рабы — восстали!..

— Хо, Юр, я и забыл, что ты у нас Академик. — Петька глянул на Валерку, как бы призывая его: мол, присмотришь, ох и распотешный же бывает Юрка. — Не говоришь, а прямо пишешь. — Петька уже все сообразил и взвесил. Никаких восстаний в его ватаге не было и, конечно, не будет — еще чего! — но сегодня он где-то что-то проморгал, народ немного занесло и он зауросил. Такое надо пресекать на корню. Однако не строгостью — от строгости народ может зауросить еще больше, — а лаской. И Петька сказал ласково: — Ну, давайте, ребята, еще раз заведем и — все, шабаш. Степ, бери свою ручку...

А вообще-то случается, что хитрые выглядят простодушными и без всякого притворства. Другой раз так схитрят, что и самому простодушному видно: белыми же нитками шито... Лестится он: давайте еще раз. Знаем, где раз, там и еще столько раз, пока Валерке щук не наловим. И Петька докажет и ему, и нам, что в ватаге он — главный.

— Нет, уже шабаш, — Степка подхватил ведро с рыбой и перевернул его вверх дном. Рыба плюхнулась на тюлевую боковину снасти и расплзлась большой зыбкой лепешкой. Ведро — теперь уже не Зеница Ока, а просто ведро — звякнув дужкой, опустилось на землю.

От неожиданности и быстроты Степкиного поступка Петька не мог вымолвить ни слова — наверное, по этой же причине не дернулась и его правая щека — он обалдело смотрел на Степку и как бы спрашивал его: «Вы что, в самом деле восстали, да?..»

А Валерка, склонившись над рыбной лепешкой, изумленно повторял:

— Вот это да... Вот это да...

От этих повторений Петька почувствовался и опять нашелся. Сказал бодро и игриво:

— Мы, Валер, такие. Пацаны, я думал, немного поймали, а оказывается, ого сколько! Куда еще больше. Вообще-то я сам хотел сказать, мол, хватит. Так, думаю, вы опять заартачитесь: что, мол, это за рыба. Путеево натаскали...

— Вот это да... — Валерка потрогал пальцем нос уже окоченевшей щучки. На Петьку же это подействовало так, как если бы Валерка задел своим пальцем рану его души. Он привздохнул и сказал:

— Ничего. Щук наших мы тоже возьмем. Послезавтра. Правда же, пацаны?

Ясно, что, говоря «послезавтра», Петька напоминал нам: «А завтра, как и договорились, пойдем ворошить наше сено».

Степка за всех нас ответил уклончиво:

— Посмотрим.

— Ладно, — сказал Петька. То есть: «Смотрите, смотрите, только вы не отворачивайтесь». — Ладно. Делим! — и он преобразился.

8

При дележе улова Петька как бы переставал быть собой... А может, сейчас подумалось мне, наоборот? Может, при дележе-то он в десять раз больше становился самим собой. Все в нем делалось вдруг кошачьим: и зоркость искристых глаз, и быстрота и гибкость движений, и, главное, нервно-чуткие и ловкие, какие, говорят, бывают у настоящих шулеров, пальцы. В кошку-шулера — вот в кого преобразался Петька.

— Так. — Он, словно язычник перед идолом, становился на колени перед рыбой «лепешкой», оценивал взглядом сначала ее, потом неводильщиков и, казалось, сетовал: такой мизер — на такую ораву? Вскидывал указательный палец и словно бы расстреливал каждого: — Один, два, три, четыре... пять, — тыкал в свой живот, клал ладонь «крабом» на тюлевую боковину невода: — Ш-шесть!..

Все верно: шесть. Снасть получала равноправную и равную со всеми неводильщиками долю улова. Так шло искони, и никто против этого порядка не восставал.

Петька потрясал в воздухе кистями рук, как бы призывая всех убедиться, что он принимается делать священное дело чистыми и честными руками. Все убеждались. И, поощряя его к действию, погружались в безмолвие. Тогда Петька принимал позу поудобнее и командовал самому себе:

— Н-начали!

И начиналось суматошное мельканье его ловких пальцев и рыбьих хвостов. Лепешка постепенно сжималась, иставала, а вокруг нее вырастало шесть очень похожих одна на другую маленьких кучек. Пескарей и сорожек, казалось, за-

хватывал Петькин запал, и они начинали состязаться с его пальцами в проворности, норовя вперед них и даже без их помощи попасть в какую-нибудь кучку, но, переусердствовав, отлетали дальше, к коленям кого-нибудь из неводильщиков. Неводильщик, чтоб исправить промах сорожки, протягивал к ней руку. Однако тут же раздавался звук, похожий на щелчок бича Васьки Монахова. Это мокрые, в слизи Петькины пальцы ударили по пальцам доброхота — не суйся, куда тебя не просят!..

Все, лепехи больше нет. От нее осталось на тюли лишь большое мокрое пятно, усеянное рыбьей чешуей. А вокруг пятна расположились шесть с виду очень одинаковых кучек: на каждого неводильщика и на невод.

— Кто голит? — строго и деловито спрашивал Петька, хотя в общем-то ему было все равно, кто.

— Я, — вызывался Юрка. Он поворачивался спиной к шести кучкам и к Петьке. Добросовестно зажмурился. Но ему этого казалось мало, и он еще прикрывал глаза ладошкой — наверное, чем простодушнее человек, тем он честнее. — Готов.

— Я тоже. — И Петькина рука нависала над центром круга, то есть над усеянным чешуей пятном. Пальцы были растопырены «крабом», каждый из них был нацелен на какую-нибудь кучку, и в то же время казалось, что каждый палец нацелен сразу на все кучки. — Кому? — резко, будто хотел напугать, спрашивал Петька Юркину спину.

Юркина спина и в самом деле слегка вздрагивала.

— Степка, — отвечал Юрка.

Четыре Петькиных пальца мгновенно прятались под ладонь, пятый — это мог быть любой палец — повелительно указывал на кучку рыбы, одну из совершенных — говорю это в третий раз — одинаковых на вид, но именно на ту, которую Петька еще при раскладывании рыбы наметил для Степки.

— Забирай, — и Петька выдвигал ладонями Степкину кучку из круга.

Степка потрошил одежный узел, находил свою кепку или майку, складывал рыбу. А дележ продолжался. Петькин «краб» вновь зависал над усыпанным чешуей пятном:

— Кому?

— Тебе, — отвечал Юрка.

Палец повелительно указывал на какую-нибудь из совершенно одинаковых на вид кучек, которую Петька заранее наметил для себя.

Все жители нашего села, и стар и млад, недолгоблюдали одного человека — деда Сердюка. Мы, ребята, больше всего за скупость и его подозрительность. Взрослые за это же, за то, что всю жизнь обижал бабку Фросю и, наверное, еще за что-то, нам неведомое. Но когда встречались с ним на улице, уважительно кланялись и желали «доброго здоровья». Дед отвечал встречному тем же. Оба останавливались. И, как очень друг друга уважающие люди, заводили беседу.

— Как нынче у тебя, Ефим Петрович, виктория? Поди, богатая? — интересовался встречный.

— Какая там богатая. Слезы, — отвечал дед неискренне, но делал вид, будто говорит от чистого сердца.

Встречный, конечно, понимал, что Сердюк кривит душой, однако притворялся, будто верит ему. И в свою очередь говорил с неискренним сочувствием:

— Вот беда-то. А, гляжу, трудов ты на нее кладешь — с утра до ночи.

Дед на это лукавство отвечал своим:

— А барыша — и на табак не хватит.

Встречный не оставался в долгу:

— Другие вон ухитряются и на боку полеживать и с копейкой быть. И так, пока им не надоест.

Точно так же лукавили в разговоре друг с другом женщины в магазине, ожидая, когда привезут хлеб; смолчали самосад и лукавили по утрам колхозни-

ки перед раскомандировкой... Кстати, однажды, когда на колхозном дворе собрались люди со всего села на воскресник по уборке сена, наш математик Александр Павлович, услышав, как двое мужиков лукавят друг перед другом, сказал со смешком другому нашему учителю, Максиму Михайловичу:

— Качают маятник лжи.

Сказал он это негромко, но я был рядом и услышал.

— Кому? — спрашивал Петька.

— Мне, — отвечал Юрка.

— Кому?

— Неводу.

— Кому?

— Вовке.

— Кому?

— Вострику.

Кучек больше нет. Каждая безошибочно «выпала» тому, кому ее заранее «разделил» Петька. Маятник лжи остановился.

И все-таки кучки — одинаковые только на вид — Петька делил по справедливости: он помнил и учитывал, кто из неводильщиков какой вклад внес в рыбную ловлю. В самом деле, разве можно сравнивать мой вклад и, скажем, Петькин? Или Юркин и невода? Или Степкин и Вострика? И значит, справедливо ли было упрекать Петьку, что он «разделил» себе рыбу покрупнее, чем мне, а Юрке и Вострику помельче, чем Степке? Нет, Петька поступал разумно. Но тогда зачем, недоумевал я, качать маятник лжи? Ведь можно делать проще: ты, Вов, хорошо гикаешь и кричишь, когда гонишь рыбу, но плоховато работаешь руками и ногами, поэтому вот тебе кучка рыбы помельче, а ты, Степ, бери вот эту, с хорошенькой пучкой, потому что невод тянешь будь здоров, как и подсекаешь, толково... Когда ученик репшал на доске задачу, Александр Павлович внимательно следил за его действиями и, бывало, замечал: «Спину удобнее чесать через плечо, а не через колено. Ищи путь короче».

Вострик всякий раз, как только закончится качание маятника лжи, начинал «качать права». Заглядывал в свою кепку, потом в Петькино ведро и плаксиво тянул:

— А-а-а, себе так вон сколько и вон каких забрал. А мне так совсем мало и совсем маленьких...

Я заметил: чувствующему себя правым, легко быть спокойным: Вострику Петька говорил спокойно:

— Да ты и этого-то не заработал.

И верно, от Вострика на рыбалке было не столько пользы, сколько вреда. То он Зеницу Ока опрокинет на ровном месте, то одежный узел в реке «искупает», то, загоняя рыбу, сам в неводе запутается. Поэтому Петька брал его в нашу ватагу неохотно. Правда, после того как дядя с Севера подарил Вострику велик, стал брать чаще, но все равно неохотно.

— А-а-а, ты так заработал, а я так нет, — ныл Вострик.

Ныл он так противно и нудно, что мы только дивились: и как Петькины нервы выдерживают? А он, по-прежнему оставаясь спокойным, загребал в своем ведре добрую горсть рыбы, клал в востриковскую кепку:

— Теперь уймешься? Или еще?..

Вострик шваркал носом.

Петька загребал другую горсть рыбы, потом и третью:

— На, на. Подавись. И шмаляй отсюда, — легонько, совсем не для того, чтобы сделать Вострику больно, подавал ему коленом под зад.

С Востриком было все понятно. «Качал права» он по жадности да все по той же своей умственной слабости. А вот какая слабость с такой силой подавляла в нас здравый смысл, что Петька и вместе с ним все мы качали и качали маятник лжи? Этого я понять пока не мог... А может, в чем-то не хотел самому себе признаться?..

— Кто голит? — спросил Петька. На тую невода уже поблескивало чешуей

мокрое пятно, окруженное шестью одинаковыми на вид, как близнецы, кучками рыбы.

— Я, — как всегда, вызвался Юрка. Повернулся к Петьке спиной, крепко зажмурился, прикрыл ладонью глаза. — Готов.

— Я тоже, — Петькин «краб» завис над пятном.

И вот тут, когда маятник лжи готов был шесть раз качнуться от Петьки к Юрке и шесть раз обратно, тут-то Степка и тронул Петьку за локоть:

— погоди.

— Чего? — не понял Петька.

— Пусть разделит он, — сказал Степка благодушно, с капелькой вкрадчивости и кивнул на Валерку.

Сделавшись большими, Петькины глаза беспокойно заморгали.

— Ему ж тоже интересно, — добавил Степка.

Теперь до Петьки все дошло. До остальных тоже, Юрка обернулся и, просто-душно улыбаясь, как бы говорил Петьке: вот тебе и история с географией. Интересноенько, как ты будешь выбираться из этого положения?..

А положение Петьки было, как сказал бы тот же Юрка, хуже губернаторского. Отмахнуться от Степкиного предложения было все равно, что унизить Валерку: да подь он, кто он такой? Принять — щучка, которую Петька давно уже «разделил» Валерке, как бог свят, достанется кому-нибудь другому. Выбитый из седла, Петька закусил нижнюю губу, в напряженной задумчивости покосился на кучку рыбы, которая с виду ничем не отличалась от других кучек, но из которой высовывался острый щучий нос, перевел глаза на Валерку, потом на Степку: мол, а ты, случаем, не шутишь?

— Серьезно говорю, — подтвердил Степка.

Петька в растерянности залопотал:

— А он... а ты, Валер... Ты как, сможешь?

— Попробую, — скромно сказал Ва-

лерка. При этом он улыбнулся так, будто считал Петькин вопрос наивным, и подвинулся в его сторону, как бы прося уступить место.

Петька почесал «крабом» свой стриженный затылок, посторонился, подмигнул Валерке и указал взглядом на щучий нос. Но Валерка не заметил. А хоть бы и заметил, то все равно не «клюнул» бы. Петька, наверное, понял это еще раньше и сказал Юрке блекло и с постной миной:

— Отворачивайся.

Юрка выполнил это повеление с каким-то особым удовольствием.

— Готов...

— Я тоже, — Валерка случайно, на какую упал взгляд, положил ладонь на одну из тех двух кучек, которые должны были по Петькиному замыслу достаться мне и Юрке. — Чья?

— Петькина, — ответил Юрка.

Я про себя похвалил его, Степка, тоже довольный, ухмыльнулся, а Петька подчеркнуто равнодушно выдвинул свою кучку из круга.

— Чья? — Валеркина ладонь опустилась на другую кучку.

— Твоя.

Петька дернул плечом, досадливо засопел.

— Чья?

— Неводова.

— Чья.

— Вовкина.

— Чья? — честная Валеркина ладонь прикрыла щучий нос.

— Моя, — немного поколебавшись ответил Юрка.

И мне подумалось: если простодушным даже не повезет, то им все равно наворочит бабушка.

— Чья?

— Степкина.

Когда Юрка открыл глаза, повернулся и увидел щучий нос, выглядывающий из его кучки, лицо его сделалось таким, словно он нехотя совершил что-то такое

постыдное, постыднее чего уже нельзя и придумать.

— Ну ты что? Сам же себе выбрал, — сказал Степка. Он хотел ободрить Юрку, но тот устыдился еще больше.

— Нет, — сказал Юрка. — Это нечестно. — Вызволил из мелочи щучку, положил ее поверх Валеркиной рыбы. — Возьми ее ты...

— Почему я? — удивился Валерка.

— Ты наш гость, — сказал Юрка. — И пацан ничего. С тобой можно дружить. И это тоже тебе. — Юрка придвинул свою рыбу к Валеркиной, из двух кучек получилась одна.

И вышло так, будто и стыд, который испытывал Юрка, он вместе с рыбой передал Валерке же: теперь его лицо сделалось таким, словно он совершил что-то очень зазорное.

— Юра, ну зачем. Я же ничего не делал, я только смотрел, как вы ловили...

Степка и я тоже отдали свою рыбу Валерке. Он совсем растерялся:

— Степа, Вова...

— Все правильно, Валер, — сказал Петька. Пригоршнями ссыпал в ведро свою и неводову доли, потом принялся туда же ссыпать Валеркину рыбу.

— Да вы что, ребята.. Да вы что... — сраженный нашей щедростью, Валерка ничего другого выговорить не мог.

— Все правильно, — повторил Петька.

«Только жаль, что не я один, а все оказались щедрыми», — конечно, этих печальных слов Петька не мог сказать вслух. Он сказал — совсем неспроста! — другие:

— А ведро, Валер, потом занесешь. Или я сам зайду...

Когда хорошо прополоскали в воде невод, аккуратно смотали его, малость испужнулись сами, оделись и готовы были двинуться домой, Петька напомнил Степке, Юрке и мне:

— Значит, пацаны, на покос часов так в восемь пойдем, — подхватил ведро. — Айда, Валер...

Солнце заметно снизилось и жгло уже не так нещадно. Воздух, казалось, поредел и дышать стало полегче. Но одолевала усталость, хотелось есть, и все плелись кое-как. Мы, трое, попеременно несли невод, а Петька с Валеркой оторвались от нас шагов на тридцать вперед и о чем-то разговаривали. Слов их не было слышно, но и так ясно: Петька наверняка выводывал, чем еще можно поживиться у своего нового дружка.

Мне представилось. Петька, кивнув на ведро с рыбой, сказал:

— Ничего, Валер, нормальненько принесешь домой. Правда, щучка не очень. Но ничего, в следующий раз мы такую вытащим... А сегодня в клубе будут «Волгу, Волгу...» показывать. Видел?

— Конечно, — ответил Валерка.

— Я тоже. Может, еще раз сходим? Хоть посмеемся...

— А что, можно.

— Только, это... — Петька притворно замялся, смутился.

— Что?

— Да так, ничего... Как-нибудь пропымнем. Или в окно залезем.

— Зачем — в окно, — возразил Валерка. — У меня деньги есть.

Петька удовлетворенно кашлянул и тоже возразил самому себе:

— Вообще-то, верно. Из-за каких-то двух рублей позориться... Лучше по билетам. Тогда, Валер, давай так: ты на велике ко мне заезжай, и мы... Я, знаешь, как гоняю... Велик с собой в зал заведем. У нас тут один балбес, Вострик, заводит. С него и кинуху смотрит...

Если бы Петька так сказал, он насколько не соврал бы. Вострик живет прямо напротив клуба, но перед фильмом велик свой не отводит домой, а тащит его в зал. Говорит, что с велика смотреть лучше, чем сидя на скамейке. Может, даже и лучше. Но главное не это, а то, что Вострику нравится, когда

ему завидуют. И все мы — тут и скрывать нечего — завидовали.

И вот Петька — представлял я дальше — решил утереть нос Вострику. Он подкатит к клубу не просто на велике, а еще привезет на раме никому не знакомого городского пацана в чистенькой рубашке, вельветовых штанах и расшитой тюбетейке. Вообще-то тюбетейка к вечеру наверняка будет на Петькиной голове — тот уже несколько раз украдкой на нее поглядывал. Да что там тюбетейка. Лично я несколько не удивлюсь, если Петька подкатит к клубу — ошарашивать «деревню», так ошарашивать — в боксерских перчатках. Все станут глазеть на него и лопаться от зависти. А он будет поглядывать на Вострика и испытывать удовольствие от того, как жадюга и балбес Вострик бледно выглядит. А все остальные пацаны для Петьки перестанут существовать. Как, видно, уже нет для него Степки, Юрки и меня — самых давних и самых верных друзей. Завтра утром он, конечно, про нас вспомнит, проснется и сразу вспомнит, а сейчас — нету нас...

Мои размышления прервал Степка:

— Значит, завтра на Петькин покос, как, пойдём или нет?..

Мы ничего не ответили. Хотя меня так и подмывало сказать: «Фиг ему, а не на покос!». Но я не посмел. Потому что у нас договор: сегодня неводим, завтра — на покос. Договор дороже денег... А вот дружба наша, по-петькиному, не стоит и ломаного гроша, если он так запросто предал ее, променял нас на Валерку... Вдруг меня охватила неприязнь к нашему новому товарищу: «Явился со своим великом да перчатками... Цаца!..»

И снова вспомнился дед Сердюк. Мы уже подходили к его дому. Но вспомнил-ся он мне совсем не поэтому.

Дед жил один. Старуха его, бабка Фрося, померла еще позапрошлой осенью. Несла в дом берема дров, на крыльце поскользнулась, ударилась виском о дверную ручку и в тот же день сконча-

лась. Но все говорили, что бабушку Фросю загнал в могилу дед. Утонула в речке овца — дед Сердюк от досады кричал на бабушку, завелись в подполе мыши — тоже кричал, потерял по дороге с базара рукавицу — опять кричал. Даже, говорят, — но это, конечно, уже сплетни, — он и на мертвую нее кричал. За то, что теперь остался один. Ему надо было, чтоб во всякой беде был виноватый, вот он и винил во всем бабушку Фросю, и ему, наверно, становилось легче, когда он на нее кричал. Но, видно, не один дед Сердюк, а все люди ищут виноватого, чтобы им было легче. Когда бабка расшиблась и умерла, деда дома не было, он как раз уезжал в гости к родне. Но все равно все говорили, что в смерти бабки виноват дед, потому что все любили и жалели бабушку Фросю. А деда не любили и все хотели, чтоб виноват был не случай, а дед. И тогда людям стало бы легче.

Вот и я тоже. Виноват Петька, он изменил нашей дружбе. А я хочу взвалить вину на новичка Валерку, вполне нормального пацана. Юрка правильно сказал: с ним можно дружить. Он, похоже, добрый, но совсем не хитрый. Как Юрка же. Но зато не простодушный — раскусит Петьку в два счета.

В это время Петька с Валеркой оставались. Петька поставил на землю ведро, сказал громко:

— Помогу пацанам невод нести. Погодите! — поднял руку и побежал нам навстречу.

— Поможет он, когда уже почти принесли, — сказал Степка. Но остановился.

Мы дошли уже до поляны, на которой всегда играли в лапту. С левой стороны поляну обрезал берег речки, с правой она переходила в небольшой взгорок. На взгорке — усадьба деда Сердюка, вся обнесенная плотным высоким тыном.

Петька подбежал, отнял у Степки с Юркой невод, взвалил его на свое плечо, мельком взглянул в сторону Валерки и сказал таинственным полупшепотом:

— Пацаны, лезем к деду за викторией.

— Чего-о? — ошарашенные его словами, спросили мы враз все трое.

— Да типе вы... Значит, я полезу, вы — на вассере.

— Когда?

— Прямо сейчас. Деда дома нет.

Да-а, значит, у Валерки есть что-то такое... такое... Я даже не мог себе вообразить, что может быть у Валерки такое заманчивое и соблазнительное, если Петька отваживается лезть в огород деда Сердюка да еще сейчас, среди бела дня.

— А Валерка? — спросил Степка.

— Все будет нормально. Вы только поддакивайте и — порядок. Ну, пошли...

10

В послевоенные годы викторию в нашем селе разводил только Подойников, бухгалтер райбольницы. Жил он на другом конце села, аж за церковью. Потом, после смерти бабки Фроси, развел викторию еще и дед Сердюк. Она занимала у него в огороде добрый лоскут. Где-то с начала июля дед каждый день набирал по большой корзине ягоды и продавал стаканами на базарчике возле райисполкома.

Мы, бывало, специально ходили на базарчик, чтобы посмотреть на его крупную, похожую на сердечки, ягоду и понаблюдать, как он ее продает. Ну и, конечно, надеялись, что, может, дед раздобьется и угостит нас.

Чтобы показать себя, скажем, перед расфуфыренной отдыхающей культурным продавцом, дед подхватывал дородную ягоду серебряной чайной ложечкой. Однако ягоде было неудобно лежать на такой маленькой ложечке, и она, капризно качнувшись, сваливалась назад в корзину, на грудку таких же дородных своих товаров. Тогда дед, недовольно сопя, бесцеремонно брал капризницу двумя пальцами, большим и средним, снова клал на ложечку и, придерживая одним средним, опускал в стакан. То же самое по-

вторялось со всеми другими ягодами. Я ожидал, что деду в конце концов надоест эта тягомотина, он рассердится, отбросит ложечку и станет накладывать ягоду руками — ведь так будет и удобнее и быстрее. Но дед упорно хотел казаться перед отдыхающей культурным. Самую верхнюю ягоду в стакане он придавливал ложечкой и этим как бы призывал покупательницу обратить внимание, что он не скупой, если ягоды уплотнятся, то он готов положить еще одну. Однако придавливал он легонько, даже не придавливал, а только касался ложечкой бока ягоды, чтобы одновременно дать понять и другое: если надавить сильнее, то ягода помнется, а мятая — это уже барахольный товар.

В стакан входило — мы специально считали — то пять, то шесть ягод. Пять или шесть — и стакан полный. Если пять-шесть, то зачем тогда стакан? — недоумевал я. Отсчитал пять или шесть, и никакой мороки. Может, Сердюку тоже приходила эта мысль, но он никак не мог решить: пять отсчитывать или шесть? В одном случае можно отпугнуть покупателей, в другом — проторговаться.

Отдыхающая расплачивалась и уходила. Мы подвигались на ее место и заглядывали в корзину вроде бы посмотреть, сколько осталось ягоды, а на самом деле, чтобы насладиться ее запахом. Тянули носом так, что крылья поздрей втягивались внутрь. Запах был густой и сладостный. От него кружилась голова и вспыхивало нестерпимое желание отвесть ягоду. Мы ждали: вот сейчас дед раздобьется и одарит каждого двумя или хотя бы одной ягодкой. Однако дед вскидывал на нас колкие глаза.

— Но, чего вы?

— Так просто.

— По базару так просто не шастают. Поди, чего-нибудь схулиганичить надумали? Ох, не миновать вам — туда, — дед показывал рукой на тайгу за Кондомой, где был лесоповал и на том лесоповале работали заключенные. — Ну, ступайте!

Мы уходили с базарчика, унося в себе лишь понапрасну растревоженное желание отвесть виктории и угасшую надежду, что желание это когда-нибудь может сбыться.

Конечно, во время, пока дед отмеряет стаканом ягоду городским отдыхающим, было бы разумно с ходу наведаться в дедов огород. И мы по дороге к дому об этом поговаривали. Но опять же поговаривали как о невозможном. Через ограду, будь она хоть там какая, всегда можно проникнуть. Гораздо хуже, что за тыном сидел на цепи рыжий пес.

С неделю назад, когда играли на этой поляне в лапту, мы тихонечко подкрались к тыну, прильнули к нему и увидели большой лоскут виктории, усыпанный спелыми ягодами. У нас, конечно, потекли слюнки.

— Вот бы сейчас... — но Петька и договаривать не стал. Лоскут делила на две части дорожка. На ней, подставив бок к солнцу, лежал пес.

— Уй, какой, заразина, — прошептал Юрка.

— Да, на такого если нарвешься, живым не уйдешь, — и Петька нарочно, чтоб разбудить рыжего кобеля, прищелкнул. Мы не успели и глазом моргнуть, как кобель подхватился и с лаем кинулся в нашу сторону. Метра за четыре до забора цепь резко натянулась, и кобель стал на дыбы. Ошейник сдавил ему горло, лай сделался хриплым, захлебистым.

— Пацаны, — сказал Петька, — если вон с того угла, то можно б... Но прямо морда к морде с этим паразитом...

Тут сенная дверь открылась, и на крылечко вышел дед Сердюк.

— Отрываемся! — скомандовал Петька.

Кубарем скатились со взгорка, попластунски переползли поляну и свалились под берег Теша.

Под берегом Петька печально вздохнул и сказал:

— Да-а, пацаны. С этим рыжим лучше не связываться...

И вот всего через неделю после той разведки Петька вполне серьезно говорит: лезу в дедов огород за викторией. Прямо сейчас. Вот это ошарашил он нас, так ошарашил.

Когда мы подошли к Валерке, вся ругань, все распри и обиды сегодняшнего дня уже улетучились куда-то, забылись. И ватага наша вновь сплотилась вокруг Петьки, своего отважного вождя, который решился на еще не бывалое.

Мы стояли среди поляны.

— Валер, ты викторию любишь? — спросил Петька.

— Садовую землянику, что ли?

— Ну да.

Валерка улыбнулся: а кто, мол, ее не любит.

— У моего дедушки Ефима, — Петька качнул головой в сторону сердюковской усадьбы, — этой земляники — завались. Сладкая-сладкая. А запашистая — с ума сойдешь. Я бы тебя, Валер, угостил, но дедушки, видишь, дома нет. — Петька показал на висящий замок на калитке. — Наверно, в магазин ушел. А может, он на базарчике — ягоду продает.

— Ничего, — сказал Валерка, — когда-нибудь в другой раз угостишь.

— В другой раз — это только послезавтра. Сегодня вечером ведь мы в кино едем, а завтра нам на покос... Как же сделать? — Петька наморщил лоб, поскреб за ухом. И «придумал»: — Хо, ребята! Да сейчас залезу в огород и наберу. А вы постойте здесь. Вообще-то, нет, здесь нельзя. В огороде у дедушки, Валер, во такой, с телка, рыжий кобелина на цепи сидит. Ох, злющи-и-й. Одно-го дедушку признает. Уж на что меня знает, а все равно, как увидит, звереет. Он, Валер, бешеный. Если сорвется с цепи и хватанет кого, то все, нет человека... — Петька повертел головой по сторонам, взгляд его остановился на яме, оставшейся от старой дедовой бани. Сейчас в яме и вокруг нее буйствовала конопля. — Значит, давайте так. Ты, Валер, спрячешься в коноплю. А вы ребята...

— Петь, — перебил Валерка с тонкой подозрительной улыбкой. — А почему ты так говоришь?

— Как?

— Тихо и как-то таинственно.

— Так, Валер, кобель же вон, близко, услышит, — Петька сказал это еще тише и еще таинственной.

— А, ну да, — тоже тихо сказал Валерка. — Тогда, может, мы все в конопле посидим, а ты...

— Нет, Валер. Ребята мне помогать будут. Их рыжий тоже немного знает. А если тебя, совсем чужого, он учует, то как начнет. Вдруг еще сорвется! А ты все-таки наш гость...

Валерка согласился, что да, гостя надо беречь от собачьего лая, но все-таки подозрение, что мы вяжем петли, в нем до конца не рассеялось. Он поочередно посмотрел на всех нас. На Юрке взгляд его задержался подольше: вы, правда, ничего дурного не затеваете? А ну-ка, ответь мне, ведь ты, заметил я, не умеешь кривить душой.

— Ты наш гость, — еще раз подтвердил Юрка.

Наверное, его ответ тоже не совсем убедил Валерку. Но подозрение в нем вроде угасло, должно быть, он просто поверил Юрке на слово: ну что же, значит, я, городской, не очень разбираюсь в тонкостях ваших деревенских обычаев.

И мне подумалось: Валерка доверчивый. И вообще люди, которые никогда не врут, должно быть, доверчивые. Поэтому они часто и «пролетают». Но в таких случаях, как сейчас, это совсем даже неплохо. Потому что сейчас тот самый случай, когда соврать полезно всем, — прав Петька. В первую очередь, Валерке же и полезно.

— Ведро и невод, пацаны, давайте тоже в яму, а то вон, всю рыбу сожрет, — Петька указал на дедову свинью. Свинья недалеко от нас пощипывала травку и мирно похрюкивала.

Отнесли в яму невод и ведро, помогли устроиться там Валерке, отошли в сто-

рону, Петька удовлетворенно потер ладони, зашептал:

— А он, ребята, немного лопух... Значит, ты, Степ, стань возле Кузнецовых. Если дед сейчас на базарчике, то по прогулку домой пойдет. А если из магазина, то по мостку. Ты, Юр, на мостке стой. Ну, а ты, Вов, будешь как бы гулять по тропке возле городьбы. Ясно?..

Мне было все ясно. Я буду «прогуливаться» вдоль городьбы и «держат» на мушке» Степку с Юркой, которые, если заметят деда, дадут мне сигнал — посмотрят высоко в небо, будто увидели там коршуна, — и тогда я крикну Петьке: «Атас!» Кроме того, моя забота следить за тропинкой, которая ведет в березовую рощицу. Правда, деду там делать вроде нечего, но, кто знает, береженого, говорят, бог бережет.

— По местам! — скомандовал Петька.

И каждый из нас пошел на свое место. Петька тем временем заправил рубашку в штаны, подвернул немного штанины. Огляделся по сторонам, подошел к ограде. Раздвинул тынины, еще раз огляделся и — двум смертям не бывать, одной не миновать — проскользнул в щель, и его скрыл призаборный бурьян.

Только Петька скрылся за бурьяном, на огороде звякнула цепь и раздался вслощенный и яростный лай, который почти сразу же превратился в хрип, — значит, цепь натянулась, и ошейник сдавил рыжему горло, Петька и собака очутились нос к носу. И я представил, каково сейчас Петьке... Лай менялся с хриплого на залиvistый, и то, казалось, он доносился откуда-то издалека, то вдруг приближался и был таким отчетливым, словно кобель лаял в лицо мне, а не Петьке.

А если, подумалось, ошейник не держит? Или цепь старая и какие-нибудь два кольца связаны, как это, бывает, делают, алюминиевой проволочкой?.. Я пытался прогнать эти мысли, но они навязчиво и нахально лезли в мою голову. Точно так же лезет и лезет в лицо иная

настырная муха. Как мне и следовало, я стал прохаживаться вдоль ограды и бросать взгляды то вперед по тропинке, ведущей в рощицу, то на Степку, то на Юрку. Все пока было нормально. В яме тоже. Валерка ничем не выдавал себя. Все-таки он молодец пацан. Это тебе не Вострик. Вострик бы на Валеркином месте — а его Петька тоже посадил бы в яму из-за его бестолковости — уже сто раз высунулся бы и проорал во все горло: «Вовк, ну чо, все?.. Чо так долго? Думаєте, хорошо здесь сидеть?..»

И тут мне вспомнился один казус. И очень обрадовался, что он вспомнился. В таких вот случаях, как сейчас, время не течет, а капает, как ранней весной талая вода с сосульки. Если же вспоминать что-нибудь такое, легкое, то время начинает идти быстрее.

Так вот, не забывая, ради чего здесь прогуливаюсь, я вспомнил, как прошлой осенью, еще задолго до октябрьских праздников, Петька во время большой перемены позвал всю нашу ватагу в дровяник и напомнил:

— Пора, пацаны, собирать, — и достал из кармана тощий синий кошелек с защелкой в виде двух шариков. — Давайте, кто чем богатый...

У нас был обычай: в первомайские и октябрьские праздники сразу же после митинга идти в лес. Играть в разные игры и пировать. Для пира накупали в магазине «Крем-сода», пряников, конфет, печенья... Деньги копили заранее. Казначеем, конечно, был Петька. Накопления наши складывались из мелкой сдачи, которая легко забывается или прощается родителями, из родительских же пожертвований на кино... Да вот, пожалуй, и все.

В тот раз, то есть прошлой осенью, в дровяник пришел и Вострик, хотя его никто не звал. Мешая нам разговаривать о деле, он стал канючить, чтобы взяли в лес и его.

Петька обернулся к нему и сказал: — Завтра пятерку принесешь — возь-

Мем. — Петька рассчитывал, что жадюга Вострик, услышав это, умолкнет и тихонько выскользнет из дровяника. Однако Вострик заскулил, как пришибленная собачонка:

— Ого-о, пятерку! Ничего себе — пятерку. Откуда она у меня...

— Так ты же хвалишься, что дядя тебе присылает каждый месяц по тыще.

— Присылает, — заносчиво подтвердил Вострик. — Только он присылает не мне, а мамке. А мне он велик купил, — напомнил ради того, чтобы ему лишний раз позавидовали.

Петьку же это только рассердило, и он сказал:

— Стырь пятерку и принеси.

Теперь уже Вострик заскулил, как собачонка, обваренная кипятком:

— А-а-а, стырь! Чтоб мне попало. Меня так учишь, а сам так побоишься...

— Заткнись, барахло!

— А-а-а, сразу заткнись. Конечно, струсишь...

— Я, — Петька приставил указательный палец к груди, — струшу?

— А чо, нет, что ли?

— Завтра, — пацаны, будьте свидетелями, — завтра на этом же месте, — Петька показал пальцем в земляной пол дровяника, — увидишь.

— Что увижу?

— А вот завтра и увидишь — что, — сказал Петька и потерял всякий интерес к Вострику. — Уже звонок, айда, пацаны...

На другой день после первого урока Петька снова позвал всех нас и Вострика в дровяник. Гадливо посмотрел на Вострика, открыл кошелек.

— Говорил, испугаюсь, да? На, смотри, — и Петька развернул перед самым носом Вострика хрусткую, ядовито-зеленую сотню.

Мы все ахнули, а у Вострика открылся рот.

— Увидел? Вот так. — Петька аккуратно сложил сотню вчетверо и спрятал ее в один карман, а наш общий кошелек

положил в другой. — А теперь шмалей отсюда, — схватил Вострика за шиворот и вытолкнул из дровяника. Вдогонку крикнул: — В лес с нами не собирайся!..

А еще на другой день к нам пришла тетка Матрена, Петькина мать. Дело было утром. Я уже проснулся, но лежал в постели с закрытыми глазами. Моя мать и Петькина, думая, что я еще сплю, стали меж собой разговаривать, и я узнал, как все было...

11

Я бросил взгляд вперед по тропке, ведущей в рощицу, повернулся, пошел в обратную сторону, посмотрел на Степку и Юрку, на яму — все было нормально. Кобель в огороде рвал и метал...

Я повернулся, чтобы идти опять в сторону рощицы и вдруг... Получилось это как-то странно. Сначала я сказал про себя: «Засыпались!...» А уже потом внутренне вздрогнул и увидел деда Сердюка. Со свежими березовыми вениками под мышкой и с батожком в руке он вышел из рощицы, встревоженно поглядывая на свой огород, где исходил в визге и хрипе кобель, торопливо, почти рысью, ступил на тропинку и сразу же заметил меня. И сразу же шаг его умерился. Тревога на лице тоже, показалось мне, умерилась. Ага, значит, он подумал, что просто собака услышала меня, чужого, вот и разошлась. А может, дед ничего такого и не подумал, а умерил тревогу с умыслом, чтобы я не заподозрил худого для себя и не дал деру. Вернее всего, так оно и было, потому что дед, не спеша, взял под мышку к веникам батожок, вынул изо рта самокрутку, выпустил дым и склонил голову вниз — мол, ты меня, Вовка, нисколько не интересуешь, видишь, я даже не гляжу на тебя.

Как пить дать, засыпались. Сигнала «ата!» Петьке я уже не могу подать. Да и не спасет его теперь сигнал, а наоборот — погубит: Петька выскочит и упадет прямо в лапы деду.

— Бху-бху, — кашлянул дед.

У меня как-то само собой получилось:
— Кхе-кхе...

Дед приостановился, посмотрел на меня исподлобья, подозрительно: уж не перекривляешься ли ты меня, малец? Чтобы не дать укрепиться этому его подозрению, я сделал шаг навстречу деду, слегка, как учил нас на переменах во время своих дежурств Александр Павлович, поклонился и сказал со всей почтительностью:

— Здравствуйте, дедушка Ефим!

Дед подошел ко мне вплотную.

— Дравствуй, Вовка, дравствуй. Ты чего тут шваландаешь?

— Так. Прогуливаюсь.

— А зачем мою собаку травишь?— дед кивнул на тын.

К счастью, кивая на тын, он продолжал смотреть на меня — ровно бы отыскивал доказательства того, «просто» я прогуливаюсь или не «просто», и потому щель не увидел.

Пока он меня разглядывал, я улучил момент и краем глаза заметил: ни Степки, ни Юрки на своих местах уже нет. Значит, увидели деда и спрятались.

— Я не травил. Он чего-то так.

— Так он не станет. — Теперь дед не кивнул, а посмотрел на огород, где продолжал яриться рыжий. Однако щели он опять не заметил: я успел стать так, что заслонил ее собой, и дедов взгляд прошел поверх моей головы и, значит, поверх ограды.

— Дедушка Ефим, давайте я помогу вам веники нести, — предложил я, надеясь побольше расположить к себе деда и, главное, заставить его отойти от этого места хотя бы на несколько шагов, а еще лучше было бы заманить его за угол ограды.

— Благодарствую. Тяжести нет, — отверг Сердюк мою услугу. — Значит, прогуливаешься?..

Тут рыжий перешел вдруг на такой отчаянный и пронзительный визг, будто сокрушался о нежданно-негаданно рухнувшей какой-то своей надежде. Дед

встревоженно вскинул голову, швырнул на землю самокрутку, отстранил меня, шагнул к ограде, и шея его вытянулась, как у гусака, когда он, рассердившись, грозитя ущипнуть. Дед с прищуром разглядывал щель. Один его вислый ус, заметил я, сделался еще вислее. Сердюк что-то хотел сказать мне, но вместо этого опять прищурился на щель. Второй ус стал тоже увядать, а одна бровь медленно поползла вверх. Глаза мои соскользнули с лица деда тоже на щель, и я увидел по эту сторону ее одну босую Петькину ногу. А самого Петьки не было. Я не успел и моргнуть, как стало наоборот: сам Петька был здесь, а одной его ноги не было.

Увидев деда, Петька стал медленно оседать. Лицо его все больше и больше искажалось в такой страдальческой гримасе, будто оседал он не на пролежину городьбы, а на само шило.

Дед Сердюк, не разумея Петькиной боли, весело поманил его пальцем:

— Ну иди, иди, Петро, сюда...

Петька нашел в себе мужество перетащил через пролежину вторую ногу, подтянул штаны и сказал как можно почтительнее и пободрее:

— Здравствуйте, дедушка Ефим!

— Да уж драствую, чего мне. А ты, Петро, никак заблукал? — Внимание деда остановилось на оттопыренных карманах Петькиных штанов.

— Нет, не заблукал, — спокойно, с достоинством сказал Петька, заметив интерес деда к его карманам. — Мы, дедушка Ефим, в лапту играли.

— Где, в моем огороде? — весело усмехнулся дед Сердюк. Усы его приподнялись, и теперь он напомнил мне кота, который поймал мышку и решил сначала ее позабавиться, а уж потом съесть.

Петька тоже усмехнулся, мол, ну и шуточки у вас, дедушка Ефим, кто же в огороде, да еще в вашем, где злющий кобель на цепи сидит, в лапту играет. И просветлел:

— Вот здесь, на поляне.

— А вылазишь, говорю, из моего огорода.

— Я за мячом лазил.

— За мячом? — дед уже не усмехнулся, а игриво хохотнул.

— Ну да. Я ка-а-к запузирил. Он и улетел в ваш огород. А у нас правило: кто запузирил, тот и лезь.

— Ну и нашел ты свой мяч?

— Нашел! Вот он, — Петька достал из правого кармана штанов черный каучуковый мяч, протянул деду.

Дед заметно приуныл. Принял мяч, внимательно — не подлог ли? — осмотрел его, произнес:

— Хм. — Покосился на левый Петькин карман.

Петька, не дожидаясь вопросов, достал из левого кармана рогатку и тоже протянул деду.

Дед принял, однако рассматривать не стал. Приложил к ней мяч, вернул Петьке.

— Хм, — потрогал опять приувавшие усы. — Значит, говоришь, ты запузирил?

— Запузирил.

— А кто подавал?

— Вот, Вовка.

— А, — дед прищурил правый глаз, правый ус приподнялся, — кто голил?

— Степка с Юркой.

— А где ж они? — дед опять повеселел, по-молодому игриво мотнул головой туда-сюда, будто искал Степку с Юркой.

— Вон, сзади вас.

Дед обернулся, и правда — стоят Степка с Юркой. Те в один голос поприветствовали:

— Здравствуйте, дедушка Ефим!

— Хм. Здравствуйте, здравствуйте...

Когда дед рассматривал мяч, я тихонько отступил за его спину, махнул Степке и Юрке, выглядывавшим из своих укрытий, мол, живо сюда. Попутно посмотрел на яму. Если бы я не знал, что в ней сидит Валерка, я бы никогда о том не догадался. Даже дедова свинья, которая теперь опщивала травку возле самой

ямы, не подозревала, что под самым носом у нее кто-то хоронится.

— Спросите, они скажут, как я запузирил, и мяч улетел в ваш огород, — посоветовал Петька деду.

Сердюк пропустил эти слова мимо ушей. Он о чем-то размышлял. Скорее всего обмозговывал Петькины объяснения, которые вкупе с вещественным доказательством очень походили на правду. Но, наверное, деду никак не верилось, что, оказавшись в огороде, Петька не соблазнился ягодой.

— Хм... — Острый взгляд Сердюка вновь стал ощупывать Петьку.

Петька с дурашливой улыбкой человека, который считает, что он уже вполне доказал свою невиновность, но которому продолжают не верить из какого-то непонятого упрямства, вышростал из штанов подол рубахи, потряс им, дескать, можете, дедушка Ефим, убедиться — пусто.

Дед убедился: пусто.

— Хм...

Петька героически задрал голову, открыл во всю ширь рот: не побрезгуйте, дедушка Ефим, загляните и сюда.

Дед не побрезговал, заглянул. Тоже никаких следов.

— Хм...

«Но не сойти мне с этого места, где-то должно быть», — наверное, думал дед Сердюк.

— А чем же ты, Петро, так его запузирил?

— Как чем? Лаптой.

— Где ж она, лапта-то? — Дед снова оживился и снова мотнул головой туда-сюда.

— Дома. Где ж ей быть, — спокойно ответил Петька.

— Значит, ты в огород, а она тем часом — домой, — съехидничал дед.

— Так, дедушка Ефим, — в голосе Петьки просквозило легкое раздражение, — мы ж вчера вечером играли. Когда уже темнялось. Да вы и сами видели, когда за водой ходили. Видели же?..

— Ну видел. Так и что из этого?

— А то, что мы вчера играли. Значит, вчера я и запузырил. Хотел сразу полезть, да побоялся: вы возьмете и подумаете, что воры, и начнете палить из ружья...

«А вообще, — говорил, даже требовал Петькин тон, — пора бы уже с этим кончать».

— Хм... — Дедовы усы совсем поникли. И после некоторого раздумья Сердюк, должно быть, решил, что кончать и в самом деле пора. — Ну, что ж, Петро...

Но самого главного дед не договорил. В это время от ямы донесся урливый свинячий визг. И дед, и все мы повернули головы в ту сторону и увидели, как Валерка, стоя в конопле, размахивает прутком, а на него, мотая головой, настырно нападает сердюковская свинья.

— Пшла! Пшла ты! — Валерка стегнул охальницу, та снова взвизгнула, отпрыгнула в сторону и, сердито ухая, побрела прочь.

— Что за хлопец? — настороженно осведомился дед.

— Да один новичок, — сказал Петька. И добавил: — Его отец — новый директор маслозавода...

— А ну, пошли, — велел Сердюк.

12

Увидев, что мы все идем к нему, Валерка вылез из конопли.

— Валер, вот и дедушка пришел! — еще издали возвестил Петька так торжественно, словно Сердюк и впрямь был ему родной дедушка, и внук до него-то рад его появлению.

— Здравствуйте, дедушка Ефим! — уважительно поприветствовал Валерка.

— Здравствуй, здравствуй, молодец. Ты, сказывают, сын хороших людей, а чего в яме-то сидишь?

— Мне Петя велел, — Валерка улыбнулся в глаза деда с почитанием, какого заслуживает родной дедушка хорошего приятеля.

Петьке это понравилось, и он, продолжая разыгрывать ласкового внука, объяснил:

— Рыжий-то, дедушка Ефим, вон какой лютый. Я и говорю: пока я, Валер, лажу в огород, ты посиди в яме, а то вдруг собака сорвется.

Валерка подтвердил кивком: да, так он и сказал.

— Хм, — дед мягко и заискивающе улыбнулся сыну нового директора маслозавода, покосился на яму. — Там еще кто-нибудь сидит?

— Больше никого. Свинья лезла, так я ее прогнал, — простосердечно сказал Валерка.

Дед тем временем тыкнул батожком в заросли конопли. Батожок угодил по ведру. Сердюк раздвинул стебли, увидел ведро и невод.

— Мы, дедушка, с рыбалки идем, — учтиво пояснил Петька.

— Вижу, вижу. Значит, тебя, сынок, Валериком зовут. А фамилия?

— Мурашов.

— О! Хорошая у тебя фамилия.

— Его отец — новый директор маслозавода, — еще раз сказал Петька, чтобы напомнить, что старого директора уже нет, а нужда в сыворотке и пахте у Сердюка осталась — ведь эта вот справная свинья должна поправляться и дальше.

— Слыхал, слыхал. Шибко славные, говорят, люди. А у славных людей всегда и дети славные... Ты с ними тоже неводил?

— Да, — сказал Валерка.

— Рыбы дали?

— Много-о-ого.

— Мы, дедушка Ефим, всю ему отдали. Он — наш гость! — сказал Петька.

— Добро, добро, — дед немного поразмыслил. — А я, Валерик, собирался сегодня к твоим родителям сходить. Познакомиться, поговорить, гостинца отнести — виктории. Ты любишь викторию?..

— Дедушка Ефим, — перебил Петька. — Мы, наверно, уже пойдем, а то Валерина рыба протухнет.

— Рано ей протухать, — возразил дед. — Постой, Петро, поговори. — И опять обратился к Валерке: — Товарищев уже завел себе?

— Вот сегодня познакомился с ребятами.

— С этими? — дед не глядя показал на всех нас палочкой. — Этим, сынок, брянский волк товарищ. Все как один — хулиганье. Их дорога известная — туда, — показал за Кондому. — Петро первый отправится...

— Дедушка Ефим, что вы уж так-то про нас, — продолжая играть внука, мило обиделся Петька.

— Не водись с ними, Валерик. Подведут они тебя под монастырь. Много рыбы дали, думаешь, почему? А чтоб опутать тебя. И опутали уже. А как до твоих родителей дойдет, что ты в одной с ними шайке...

Валерка растерянно, но сурово посмотрел на деда, потом на Петьку. Он обо всем догадался.

— Петя, так получается, ты... — Валерка осекся.

Петька подмигнул ему и подбросил в руке мяч, но Валерка не обратил на это внимания.

— Он тебе ягод обещал, когда в огород полез? — льстиво спросил дед.

Валерка оставил без внимания и этот вопрос. Он смотрел в лицо Петьки с такой горечью и болью, как если бы Петька ни за что ни про что взял да и ударил его по щеке.

— Петя... — сказал Валерка с укором. Петька опять подбросил мяч.

А дед напирал:

— Он тебе ягоду сулил? Я знаю, ты мальчик хороший. Скажи мне, сынок, правду.

— Дедушка, я всегда говорю правду. Но только за себя.

— Валер, так я ж тебе, по-моему, говорил, что я за мячом...

— Цыц! — притопнул ногой дед. — Ты мне мячом голову не морочь! Шшенок!..

— А что вы обзываетесь-то! — оскор-

бился Петька. — Главное, шшенок-о-о-о. Тогда я вообще с вами разговаривать не буду. Пошли, пацаны, — и Петька сделал шаг к неводу.

— Ку-да! — дед ухватил его за шиворот, Петька вертанулся, рубаха сзади выпросталась из штанов, и на траву, прямо под ноги Валерки и деда, просыпались красные сердечки виктории...

— Ах, мошенник! Ах, басурма-а-а-а!.. Ну, Петро, готовь свой зад, — дед обернулся к нам: — А вы тоже...

Потом Сердюк опустился на колени, снял кепку и стал собирать в нее ягоды...

13

Рассказ мой близится к концу, и у меня уже не будет другого момента, кроме как сейчас, досказать ту историю с сотней. А досказать ее обязательно надо.

Так вот, утром пришла к нам Петькина мать и, думая, что я еще сплю, стала рассказывать моей матери:

— Ну, наделала я дел. Вчера подняла перину — сотни нет. Мелкие лежат, а сотни нету. Только ж, думаю, из магазина пришла, положила, отвернулась — уже нету. А дома я да Петро. Спрашиваю: брал? Отнекивается. Куда ж она могла деться? Всего и выходила, что корове сена дать. Нет, кричит, не брал. Я за ремень. Кричит: не брал! Да так кричит, так кричит, что, думаю: может, и правда зря я его быю... А вот сейчас заглянула — лежит сотня. Как лежала, так и лежит. И чем я, дурная баба, смотрела. Или наваждение какое было. Так жалко парнишку! — и тетка Матрена смахнула слезу.

В тот же день про то же самое рассказал мне и Петька. Само собой, немножко по-своему. Но это не так важно. Куда важнее то, что во время порки Петька сделал одно из лучших своих открытий. Сначала нужно обязательно набраться терпения и мужественно пережить момент, когда мать берется за ремень. Тебе кажется, что делает она это

очень уж медленно. Так медленно, что даже хочется подойти и помочь ей, лишь бы скорее кончилось проклятое предощущение горячего жжения в той части тела, по которой ремень сейчас начнет прогуливаться. Ну, а когда вечный инструмент исправления вечных же пороков пущен в ход, то все уже не так страшно. Теперь главное другое.

Оказывается, когда тебя лупят, а ты орешь дурниной: «больше не буду!» — то делаешь себе же хуже. Раз орешь «не буду!», то, выходит, было. А коль так, то получай. Родители, они ведь тоже с соображением. «Не брал!» — вот что надо изо всей силы орать. Родители, они ведь тоже с сердцем. Если ты орешь «не брал!» и вообще ничего дурного не делал, они подумают: может, он и правда не виноват? Так вот, погромче ори «не брал!»

...Помнится, в тот раз мы с Петькой говорили о том, что в тревожном ожидании порки сладко мечтается о приезде гостей. Ты маешься, ждешь: сейчас войдет с улицы отец и... Но вдруг заходит в дом твоя родная тетя. Или дядя, старшая сестра, брат или кто-нибудь знакомый. Или пусть попросится переночевать кто-нибудь совсем незнакомый. И тогда родители украдкой погрозят тебе пальцем и шепнут с досадой: «Неудобно при гостях. Но, погоди, завтра...» Но какой же родитель станет наказывать завтра за то, что ты натворил сегодня...

Когда дед Сердюк опустился на колени и стал собирать ягоды, я вздохнул про себя: хоть бы кто-нибудь к нам приехал сегодня. Наверное, о том же вздохнули и другие...

14

Мы всей ватагой ступили на мосток через Теш, с другой стороны на мосток ступил Васька Монахов. Он тащил за жабры налима. Всего одного. Зато такого, что липкий хвост его волочился по доскам мостка.

— Вот это я понимаю — рыбешка, — восхитился Петька. — А что одного-то?

— Вверху дожди прошли, что ли, — вода поднялась. Быстрина — с ног сбивает. Правильно сделал, что не пошел со мной. Унесло бы тебя к шутам. Да и вообще рано вам еще на Кондому — слабаки.

— Но ничего, — Петька хлопнул ладошкой по спине налима. — Когда-нибудь мы тоже будем таких же вот таскать. Какие наши годы!

— Конечно, — подхватил Васька. — А пока что вам и тут, на Тешу, не мелко... Да вы чего все такие кислые-то?

— День, Васьк, шибко трудный был.

— Что такое?

— Да долго рассказывать.

— Если долго, то все ясно, — улыбнулся Васька, будто ему и в самом деле было все ясно. Кивнул на Валерку: — Что за оголец?

— Это наш новый друг Валера...

Возле Валеркиного дома мы остановились.

— Ребята, если что-нибудь не так сделал, то вы...

— Кончай, — оборвал Валерку Степка. — Нам как раз такой и нужен.

— Ты настоящий пацан, — пробасил Юрка.

— Ты не качаешь маятник лжи, — сказал я. Наверное, у меня получилось это как-то слишком. Потому что все засмеялись. А Петька откровенно, на всю улицу захохотал:

— Чего-о-о? — Потом положил мне руку на плечо. — Ты, Вов, тоже стал маленько академиком... Честно говоря, пацаны, я и сам сегодня нахватался чего-то такого... Ну, Валер, — подал ему руку, — если нас на Кондому не берут еще, то на «Волгу, Волгу...» сегодня тоже не пойдем: дед Сердюк, поди, уже всех оббежал. Когда, Валер, увидимся-то?

— Завтра.

— Завтра мы все на покос идем. Сеповорощить, — напомнил Степка.

— Так и я же с вами.

— Тогда до завтра.

Тамара Рубцова



Памяти отца

Над скромным холмиком могильным
Присяду, голову склоня.
За все, что не было и было,
Прости, отец, прости меня.
За то, что я, спеша с делами,
Ходила гостем по избе,
А обращалась больше к маме,
И только изредка — к тебе.
Ты в праздник надевал награды.
С неясной помнятся виной
Твои слова: «Вам знать не надо
Того, что связано с войной»...
Смотрю на снимок долгим взглядом,
Туда, где сорок лет назад
На годы замер с танком рядом
Серьезный старший лейтенант...
Он много говорил, бывало,
Но очень редко — о себе.
Прости, отец, что знаю мало
Я о войне в твоей судьбе.

На окраине Юрги

На окраине Юрги,
В этом царстве деревянном,
Были девушки строги,
Как царевны Несмеяны.
Были улицы глухи
К вою шатии собачьей,
Табунились женихи
В выходной у водокачки.

В моде был большой начес.
Юбки — мини, только мини,
А о золоте вопрос
Не являлся и в помине.
Я окраину люблю
С деревянными домами,
Печку русскую топлую,
Приезжая в гости к маме.
Пол, как в юности, сотру,
Приготовлю одеяло,
Не забыв, что печь к утру
Прежде быстро выставляла.

Счастливая

Пой сегодня мне, соловушка,
Так, чтоб за душу взяло,
Пропaday, моя головушка,
На свиданье за селом.
Филин гулко расхохочется
Над нескладною судьбой.
Разменяю одиночество
На короткую любовь.
За спиною сплетни стелются,
Нет покоя языкам.
Сплетни скоро перемелются,
И получится мука.
Пусть, что будет, то и станется,
Я, счастливая, иду.
Все пройдет — со мной останется
Этот день, один в году.

Колыбельная

Спи, сыночек мой, пора.
Если будет тихо,
Обойдет вокруг двора
Старая лосиха,
Наше сено пожует
Мягкими губами.
Спи, пускай она идет,
Прижимайся к маме.
Нет сейчас в лесу еды,
Корм ей, старой, нужен.
...Мы с тобой ее следы
Утром обнаружим.

Примета века

Еще одна примета века —
На лицах темные очки.
Как далеко у человека
За ними прячутся зрачки.
Ты не пойми меня превратно,
Я не противник новизны,
Но грустно видеть только пятна
Там, где глаза блеснуть должны.

г. ЮРГА

Борис Бурмистров

Путь

Сколько раз говорил: «Отдохни,
Всё летаешь, летаешь, как птица».
Но бежали минуты и дни,
Замечал только руки и лица.

Выбирался из шумной толпы,
Постигая дорог постоянство,
И судьбы верстовые столбы
Вновь летели куда-то в пространство.

Сколько раз повторял: «Подожди.
Может, здесь твое место и дело?»
Но манили ветра и дожди,
И душа от восторга звенела!

А когда вдруг решил отдохнуть,
Разобраться, что правда, что ложно,
Стало ясно, что все это — путь,
Без которого жить невозможно.



Хоронили в селе пастуха,
Говорили: «Ударило громом.
А за ним никакого греха
Не водилось». И тихо над гробом
Разговоры вели мужики:
«Видно, богу угодно так было.
И ему, знать, нужны пастухи.
Без присмотра нечистая сила...»
Помолчали, и гроб понесли,
И забыли про гром и про бога...
А наутро коровы пошли,
От копыт загудела дорога.

Вышел сын пастуха Николай
И отцовским кнутом размахнулся,
Щелкнул лихо и крикнул: «Давай!»
И без злобы на стадо ругнулся.

Пора сенокоса

Снова ветер летит луговой,
Над горячим асфальтом кружится.
Пахнет в городе свежей травой,
Так и хочется в травы зарыться.

Я давно не бываю в полях,
Городская судьба мне досталась,
Но я помню: в зеленых краях
Так светло мне жилось и мечталось!..

Льется зелень с небесной дуги,
Распахните скорее балконы!..
Косят травы в полях мужики.
И стригут на проспектах газоны.

* * *

Зовет апрель — гулять, гулять!
Я собираюсь молча,
Жена не хочет отпускать:
— Куда собрался ночью?

— Куда, куда — летать хочу,
Такое вот желанье!
И коль надумал — улечу,
Сиди здесь в ожиданье.

А хочешь, чудо сотворим —
Открой скорей оконце!
Возьмем и вместе полетим
На вертолете солнца!..

— Летать, да боже упаси!
Так я тебя пустила, —
Жена сказала, — свет гаси! —
И... форточку закрыла.

* * *

Звучит печальный вальс.
И лица, лица, лица...
Я приглашаю вас
Немного покружиться.

Вас за руку беру
И вывожу в... пространство,
Мы кружим на снегу,
Среди лесного царства.

И никого вокруг,
Лишь мы вдвоем да звезды.
Летим за другом друг,
Раскручивая версты.

И старый патефон
Готов вот-вот сломаться,
Ах, этот длинный сон...
Пора ему кончаться.

Но звезды все кружат.
И вальс печальный слышен,
И теплый снегопад
Все ниже, тише, тише...

* * *

Опять дожди тиранят город,
И горизонт в тумане скрыт.
Сажу в саду (собачий холод),
А рядом женщина сидит.

Сидим, не смею молвить слова,
Боюсь движением спугнуть,
Она, мне кажется, готова
Вот-вот на веточку вспорхнуть.

«Не улетаите, заклинаю», —
Я про себя шепчу, шепчу.
Хотя совсем не понимаю,
Зачем сажу, зачем молчу?..

Все на круги свои вернется,
Уже светлеет горизонт.
И женщина сидит, смеется,
Со мною вместе солнце ждет.

ФА-МАЖОР

Рассказ

Галина пришла к матери в сомнениях. Наконец-то на заводе выделили им с Михаилом путевки на курорт. И курорт-то хороший, и лечение то, что им нужно. И время подходящее — май: там, на юге, все уже в цвету и в то же время нет еще жары невыносимой. И путевки ведь льготные, почти задаром. Вроде бы все ладно. А, видно, придется отказаться. Ведь у Оксаночки-то конец учебного года. А две школы — не шутка. За обычную можно не волноваться: там дочка учится хорошо. А вот в музыкальной все какие-то нелады. На последнем родительском собрании прямо сказали: «Как бы вашу девочку не пришлось отчислить. Все решат экзамены». Ну как тут уедешь? Правда, к самим экзаменам они успевают вернуться. Да от этого уж толку мало будет. Главное — сейчас поднажать, подготовиться как следует. А Оксаночке такой сложный этюд к экзамену дали! Вместе они разучить его не успеют — через неделю уж уезжать. А одной ей его ни за что не осилить. Нет, видно, придется от путевок отказываться!

Валентина Никитична как услышала такое, так и ахнула:

— Господи, отказываться! Да ты что, скаженная, что ли! Еще не лучше! И думать про такое не думай. Сколь добивались этих путевок, сколь ждали, а теперь, здравствуйте, отказаться! Да вам же посла и вовсе никогда не дадут. Уж себя не жалко, дак Мишу хоть пожалей — он со своей работой совсем сердце надорвал. Нет, нет — поезжайте с богом, отдохните, подлечитесь...

— Да что ты меня агитируешь! Я все это лучше тебя понимаю. А что прикажешь с Оксаночкой делать?

— А что с ей делать? Проживем мы тут месяц и без вас. Или мне уж вовсе не доверяешь? Я, поди, получше вашего и накормлю ее вовремя, и в школу провожу, и прогуляю...

— Да при чем тут «доверяешь—не доверяешь»? Накормить-то ты, конечно, накормишь, а вот как быть с музыкой?

— А как быть? Пусть себе Оксаночка учит свою музыку. Уж я и на урок ее уведу — приведу, и дома посижу.

— Не смейся! Последит она! Да что ты в музыке-то понимаешь?

— Да тут и понимать нечего. Чего надо, поди, на уроке скажут да покажут. А я дома-то посижу с ней рядышком да посижу, чтобы не отвлекалась, все по делу бы занималась. Вот сколь ты скажешь часов, столь мы с ней и просидим за пианиной...

Посомневалась дочь, поохала, поворчала и ушла домой ни с чем. А на завтра объявила, что решили они с мужем все же ехать на курорт, а дочь оставляют на полную бабушкину ответственность.

Порадовалась Валентина Никитична за Галину с Михаилом — слава богу, отдохнут как следует. Порадоваться-то порадовалась, да тут же и забоялась: а как она здесь справится? Да теперь уж поздно раздумывать, взялся за гуж — не говори, что не дюж.

Подумала Валентина Никитична, прикинула все и заявила, что жить они с Оксаночкой будут здесь, в ее квартире, а не на их верхотуре. Дочерина новая,

недавно полученная квартира была на шестнадцатом этаже. Каждый раз, поднимаясь в это поднебесье, Валентина Никитична зажмуривала глаза, запирала в себе дыхание, боясь шелохнуться, а выйдя из лифта, долго приходила в себя. В самой квартире она старалась ходить осторожно, ни за что не соглашалась выйти на балкон, а если ей случалось пенароком глянуть в окно, она в ужасе вскрикивала и хваталась за стену, потому что дом тотчас начинал раскачиваться из стороны в сторону, как подсолнух на ветру. Валентина Никитична привыкла ощущать под ногами землю. Выросла она в деревне, в приземистой бревенчатой дедовской избе. Потом много лет жила в маленьком старинном городке, который домов выше двухэтажных не знал. И сейчас у нее квартира, хоть и в пятиэтажке, но на самом низу, опять же у земли. А к этакой страсти она сроду не привыкнет, да и привыкать не собирается. И сейчас, против обыкновения, твердо стояла на своем.

— Сказано, у меня мы жить будем — и все тут! Здесь-то я завсегда выскочу и проводить ее и встренуть. И в магазин, когда захохоту, сбегую, и покараулю, пока она гуляет.

Галина, почувствовав небывалое упорство матери, растерялась.

— Да ей же заниматься каждый день нужно. Ей инструмент необходим.

— А у меня тоже пианино есть.

Сказала это и замерла: а что как помереется дочка над ее словами! Но та только озабоченно вздохнула:

— Уж сколько лет молчком простояло, его и настроить теперь вряд ли можно.

На другой же день пришел настройщик — маленький горбоносый старичок. Узнав, что инструмент не настраивался тридцать с лишком лет, начал ругать людскую тупость и, кажется, сразу же собрался уйти. Однако к пианино все же подошел. В его круглых, навывкате глазах появилось что-то похожее на подбострастие.

— О, «Шульце!»

И он уже уважительно глянул на Валентину Никитичну. Потом долго-долго, до самой темноты, колдовал над инструментом. По множеству раз ударял клавиши, и они вскрикивали на разные голоса. Он напряженно вслушивался, наклонив голову. Если голос был болезненным, фальшивым, на его лице проступало страдание. Тогда он что-то подкручивал, подправлял в инструменте. Когда голос становился чистым, на стариковском лице появлялось ликование, кажется, даже нос чуток выпрямлялся. Настройщик брался за следующую клавишу, и снова его глаза туманились страданием. Он походил на детского доктора, который, сам мучась от причиняемой им боли, все же ставит ребенку спасительный укол.

Когда они после сидели за столом и пили чай, мастер все пытался растолковать, каким она обладает чудом.

— Какой звук! Ах, какой звук! Благородный, глубокий. Вот что значит настоящая фирма. Это вам не современные местные бренчалки. Их можно вместо зеркала покупать — так и сверкают, так и светятся. Но голос такая красавица подает — мороз по коже. Не поет, а тявкает! А у вас настоящее сокровище, редкий инструмент, редкий.

Валентина Никитична от этих похвал смущалась, краснела, даже руками махала: мол, да ладно вам... Если бы он знал, какую принес ей сегодня радость! Он был сейчас для нее самым дорогим гостем. Она не знала, как угодить ему.

Узнав, что инструмент настроили, чтобы занималась маленькая внучка, он только руками всплеснул:

— Ну, сударыня, не ожидал! Гаммы-то гонять можно и на чем-нибудь попроще. Отдать это чудо в неопытные руки — великий грех, преступление. Среди моих клиентов есть такие, которые завтра же купят у вас инструмент. И деньги за него дадут хорошие. Вы на них сможете купить новое пианино да еще после целый год свою внучку подарками

ублажать. Ваш инструмент попадет в надежные опытные руки, будет служить хорошим людям, настоящим ценителям музыки. Он у вас и так тридцать лет молчал. Это непростительно! А теперь — гаммы! Только скажите — покупатель будет сразу же. Я даже сейчас, отсюда могу позвонить.

Однако Валентина Никитична продавать пианино отказалась категорически. Старик рассердился на нее и засобирався домой. Она смотрела на него виновато, но непоколебимо. Расстаться с пианино?! Да еще сейчас, когда его наконец-то пробудили от долгого сна!

Когда же музыка впервой зацепила ее душу? И с чего бы — бог его знает. Ведь дома у них никакой музыки отродясь не бывало. Всего другого — в досталь: ругани, слез, драк. А вот музыки не было. Ни музыки, ни песен. Отчего же ее, сколько помнит себя, музыка околдовывала неодолимо? Еще совсем крохой была — мать всегда знала, где искать ее: возле дома, где свадьба или другая гулянка затеялась, откуда песни слышны. Притаится, бывало, где-нибудь в кустах или за поленницей и сидит часами, слушает. А как в город переехали — тут и вовсе беда. Убежит к парку, где оркестр на танцплощадке играет, — здесь ее не доищешься, не дозовешься. Сколько раз за это матерью бита была. До музыки ли тут, когда дома шестеро, мал-мала меньше, а она, Валентина, старшая. Надо малышня нянькать да помогать матери деньги зарабатывать, на отца-то пьяницу надежды мало. Подрабатывали они тем, что стирку домой брали да ходили по людям полы мыть. В одном доме Валя сильно бывать любила. Все, бывало, норовила одна, без матери туда придти. И старалась там как ни где — терла, скоблила изо всех сил.

В большой богатой квартире, сплошь устланной коврами, уставленной диковинными статуэтками и подсвечниками, она сразу же выделила огромный черный рояль. Еще не зная ни его названия, ни

назначения, угадала притягательную тайну, скрытую в его неуклюжем громоздком теле. И когда впервые услышала его голос, то даже не удивилась, будто до того уже была знакома с ним. А откуда? До этого рояля ей ни видеть, ни слышать не приходилось.

Играла на рояле дочь хозяев — не красивая, вечно заспанная, неприбранная девица. Большую часть времени она лежала на диване, глядела в потолок и курила длинные тонкие папиросы. Иногда плакала. Иногда с ней случались истерики. Иногда она вставала с дивана и садилась к роялю. И какой же красивой тогда становилась! Из глаз уходила пьяная сонливость. Губы переставали кривиться в горькой брезгливой гримасе. Лицо становилось совсем иным, будто с него спадала постоянно носимая маска, и открывалось настоящее, живое, обычно скрытое этой маской.

Вале казалось, что она теперь знает об этой девушке все: как было в ее жизни когда-то очень хорошо, и как теперь худо, и как боится она того, что должно быть дальше. Музыка — необычная, ломаная, тревожная — зацепляла в душе у Вали что-то самое нежное, хрупкое... И когда она возвращалась домой с красными глазами, мать выпытывала, не взяла ли дочь без спросу там чего и не наказали ли ее за это хозяева. Музыка оставалась в ней, стояла, не расплескиваясь, пока ее не захлестывала и не вытесняла другая, которую снова дарили та девушка и ее рояль.

Должно быть, тогда-то и стала она робко мечтать о своем собственном пианино, о том, что когда-нибудь оно запоет под ее руками и расскажет о ее, Валиной, жизни.

О мечте своей не сказала никому — ни матери, ни сестрам, ни лучшей своей подруге Дусе. Открылась Валя только Андрею перед самой их свадьбой. И он не удивился, не посмеялся над нею. Пообещал твердо, что пианино у нее обязательно будет. Подрабатывал, копил

деньги. Привез домой пианино, когда ждал ее из роддома с младшей дочкой, — сын у них родился годом раньше. Купил его с рук — на новое-то денег не хватило бы. Было оно и тогда уже, видать, в солидном возрасте. Блестящий лак по бокам потускнел, местами облупился, клавиши слегка пожелтели, и только сияла золотом иностранная непонятная надпись.

Андрей и учительницу ей нашел — поджарую, коротко стриженную старуху с ярко накрашенными губами. Она пришла к ним недовольная и стала говорить, что музыке надобно учиться с детства, что из их затей ничего путного не получится. Когда же увидела двух маленьких детей, то даже растерялась и замолкла. Но, подойдя к пианино, сразу переменялась, стала хвалить их вкус и восхищаться инструментом. Потом заставила Валентину что-то выстукивать карандашом да угадывать, какую клавишу она только что нажала. И тут бабуся совсем просияла: с таким музыкальным слухом и чувством ритма не учиться просто преступление.

Но занятий было всего только два. В день третьего началась война. Через неделю проводила Андрея на фронт. А через месяц получила казенную бумагу со словами: «пропал без вести». Устроилась судомойкой в госпиталь. Детей оставляла на полуслепую — старуху соседку. Сама-то сильно не голодала — раненые не всегда съедали все подчистую. А вот детишек часто кормить было нечем. В первую же военную зиму перетаскала она на базар все, что нашли они с Андреем за недолгую свою совместную жизнь. В доме стало пусто. И только пианино сиротливо жалось в угол, ожидая своей очереди. Покупатели находились и деньги предлагали хорошие, а она — нет, ни в какую. Только однажды, когда предложили в обмен два мешка муки, не выдержала, согласилась. Сидела, ждала обменщиков и обреченно плакала, будто на похоронах. Страшно было представить,

как вот сейчас станут выносить пианино. Да обменщики-то что-то не приехали. Видать, где-то выгоднее свою муку приспособили. Ну и слава богу! Пережила она с детьми лихое время — лучше не вспоминать, как приходилось, а все же пережила. А пианино осталось, вот оно, и до сего дня стоит.

После войны тоже нелегко пришлось, ох нелегко! Другой раз еще хуже, чем в войну, припекало. Но и тогда не продала она свое пианино. Стала мечтать, что теперь скоро уж дети ее играть на нем станут, им будет отрадой та музыка, что ей так и не далась. Но сын Юрочка сизмальства прирос душою к железкам и о музыке даже слышать не хотел. А дочка Галинка два года проучилась и бросила. Прямо как отрезала: нет — и все тут! Правда, несколько песенок она все же успела разучить. И Валентина Никитична часто усаживала ее за инструмент и велела играть для каждого гостя. И как она счастлива, как горда бывала в такие минуты! Однако Галинка скоро подросла и ублажать гостей своей музыкой отказалась наотрез. И снова пианино замолкло.

Теперь стала ждать, что, быть может, кого-то из внуков музыка поманит. И тогда она подарит свое пианино — самое ценное, самое дорогое, что у нее есть. Но у Юрия сын Олежка, как и отец, весь в технике. На бабушкины уговоры только смеялся: «Зачем мне, бабуля, голову нотами морочить, когда у меня магнитофон классный есть? Он мне любую музыку исполнит». А вот Оксаночка у Галины, славу богу, учится в музыкальной школе. Да все как-то не ладится у нее учеба. Вот даже исключить грозятся. Ну уж нет, она этого не допустит! Будет сидеть с внучкой у пианино дни и ночи, но выучит Оксаночка, что задали, кубок.

Взять у матери пианино для Оксаночки Галина отказалась. «Ты, — говорит, — мама, не обижайся, но сама посуди — зачем нам эта рухлядь? Она же весь вид

в квартире испортит!» И купила в магазине пианино новое — все так и светится, как зеркало. А старое и правда никакого вида уж не имеет. Некогда сверкающий лак давно угас, кое-где пообсыпался, и уже проглядывает то там, то здесь голое дерево. Не углядела она — как были ребятишки маленькие, поисчеркали бока, поисцарапали. Да еще Галинка как-то умудрилась горячий утюг на крышку поставить, вон теперь какое пятно безобразное. Оно, конечно, рядом с мебелью нынешней блескучей как его поставишь? И она не сердилась на дочь за то, что та отказалась принять ее подарок.

Оно, может, и впрямь надо бы продать эту музыку. Вон соседка Лизавета уж надоела, все просит: продай да продай. У нее младшенькая больно к музыке способная. Учителя требуют, чтобы свой инструмент был дома. А где же Лизавете одной с двумя малыми при ее зарплате новое купить? Она и за это не обещается враз отдать — только по малости, в рассрочку. Жалеет Валентина Никитична Лизавету, хотела бы ей помочь, да не может. Уж если она и впрямь вдруг надумает пианино продать, то деньги за него ей нужны разом все. Поэтому как есть у нее одна задумка. Страсть как хочется ей съездить на родину свою, поглядеть напоследок еще разок да попрощаться. Последнее время во сне все родные места видит, да как-то неясно, туманно — стали уж уходить из памяти.

Дорога на родину совсем не близкая и денег потребует немалых. Можно бы, конечно, попросить у детей, они у нее хорошие, заботливые. Да закнулась она как-то об этой думке своей, а они не поняли ее, отмахнулись. Сказали, что все это одна только пустая блажь, просто глупость. Уж если куда ей ехать, так это на курорт, и тут они ей всячески помогут. А она на курорт не хочет — сроду не бывала, а теперь уж и вовсе ни к чему. А вот на родину тянет все сильнее,

все неодоливей. Вот и решила она, что если совсем уж станет неспособна, вот тогда продаст она пианино и на те деньги поедет. Конечно, много за него не дадут, но на дорогу туда — сюда, наверное, хватит.

А выходит, недооценила она эту музыку, выходит, она много дороже стоит. Вон как старикан-то настройщик хвалил, а уж он-то толк знает. Говорит, царапины, да пятна — не в счет, главное — какой голос. Но сейчас все мысли о продаже она отбросила напрочь. Наконец-то, впервой за столько лет, ее пианино кому-то пужно, службу служит, поет каждый день.

Теперь, как только Оксаночка приходила из школы и обедала, Валентина Никитична усаживала ее за пианино, сама садилась рядом и зорко следила, чтобы внучка не отвлекалась, занималась бы старательно.

Этюд шел у Оксаночки трудно, никак не запоминался, и Валентине Никитичне было очень жаль внучку. Про себя она ругала учителей: задавали бы ребятишкам что полегче, хоть песенки бы, что ли, чтобы припевать можно было. Припевая-то, поди, и выучили бы быстрее. Они ведь маленькие еще, им бы попонятней да поинтересней надо. А то задают бог знает что. Этот вот самый этюд не только не споешь, а и не назовешь-то по-человечески. Фамажор какой-то. Придумают же, господи прости!

Но, конечно, вслух ничего такого она не высказывала, а, напротив того, всячески подбадривала внучку, говорила, что этот самый фамажор — просто чепуха и выучить его — пара пустяков. Сама она запомнила эту музыку быстро. Теперь ей казалось, что ее и спеть даже можно. Оксаночка, играя, смотрела в открытую книгу с нотами, а Валентина Никитична неотрывно глядела на ее руки, и скоро уж знала, какую клавишу за какой нажимать надо. И когда ей случалось выскочить по делам на кухню, а внучка ошибалась, она кричала: «Нет, не

этак! Ты жми на черненькую, посерединке трех рядышком-то! Во-во, эту самую».

Ночью долго не могла уснуть, страшилась представить, что будет, если Оксаночка не выучит этюд и не сдаст экзамен. Валентина Никитична наперед знала, что во всем окажется виновата она. И чего это у Ксаны так трудно идет этот самый фамажор? Если разобраться как следует, то ничего трудного в нем и нет. Начинается неспешно, раздумчиво, жалобно: там-там, та-та-там... Потом идет вроде повеселей: та-та, та-та, ти-там, ти-ти-ти... А дальше и вовсе радостно, словно озорничая: ти-ли, ти-ли, ти-ти-там, ти-ли, там-там, ти-ли-там. Тут все почти на черненьких идет. И так скоро, так шустро, будто птички чирикают или ручеек по камешкам бежит. В этом месте Оксаночка всегда ошибается. А после... И так она перебирает в памяти весь этюд, до самого-самого конца. Господи, да выучит ли его внучка, успеет ли? Уж хоть бы вышло, хоть бы удалось!

Она начинает уже засыпать, и вдруг одна мысль — бредовая, нахальная — вспыхивает в ее сознании. Но Валентина Никитична в суевенном страхе гасит ее и, чтобы не дать ей вынырнуть снова, начинает думать совсем о другом.

Утром она неожиданно для себя самой начинает стирку, хотя еще вчера и думать не думала стирать. Развесив белье, садится на табуретку к окну, где посветлее, и начинает рассматривать свои руки. Ладони у нее широкие, хватистые, привыкшие ко всякой работе. Мозоли на них не проходят, однако, еще с детства. Пальцы же короткие, толстые, корявые. Кожа на руках в густой сетке мелких трещинок, которые впиваются в себя все, ровно губка. Стоит грядку выполоть, картошку или свеклу почистить — готово, руки становятся черным-черны. И тогда их мой, не мой — никакого толку. Одно средство — стирка. Только после нее и бывают ее руки белыми. До первой кухонной работы. Сейчас они распарены, розовы, кожа на пальцах слегка

сморщена. Валентина Никитична еще моет их мочалкой, вытирает насухо, снимает фартук, повязывает чистую косынку и только тогда подходит к пианино. Впервые после тех далеких своих двух музыкальных занятий она вновь садится на круглый вертучий стульчик и поднимает крышку.

А сердце-то, а сердце-то колотит в ребра! И пальцы-то дрожат. И такой вдруг страх во всем теле, словно с кручи ей сейчас прыгнуть нужно. Ишь чего удумала!

Она сидит некоторое время недвижно, унимая волнение. Наконец, пересилив себя, дотронулась до клавиши так осторожно и невесомо, что та даже и голоса не подала. Тогда Валентина Никитична, собравшись с духом, нажимает посильнее, и клавиша отзывается ей нужным звуком, с которого и начинается этюд. Она ударяет еще раз, потом — еще. И только убедившись, что звук каждый раз рождается единственно необходимый, она решается перейти к другому. И он выходит ладным, к месту, и следующий — тоже, и еще следующий. Но каждый из них живет сам по себе, отдельно от других. Так не годится. И она начинает снова, но уже иначе: тихонько, про себя напевает мелодию этюда, стараясь ударять по клавишам в лад с ней. Вот тут, оказывается, в чем дело: одной нотке нужно дать попеть вволю, а другую — сразу же оборвать да скоренько перескочить на следующую. Как раз это вот мотив и подсказывает. Легко сказать — скоренько! А попробуй сделай. Пальцы-то у нее, оказывается, какие неуклюжие! Раньше она и не примечала — на другую всякую работу они вроде проворные. А тут — то и дело промахиваются, попадают не туда, куда целила, и тогда рождается звук посторонний, чужой, лишний. Клавиши живыми ельчиками пороят выскользнуть из-под рук, и нужна сноровка, чтобы удержать их. Особенно капризны эти черненькие. Уж такие-то они тонюсенькие, такие неудобные!

Одним пальцем нажимаешь, а другие — лишние, мешаются. Валентина Никитична туго сжимает их в кулак, оставив на воле один указательный, которым только и орудовала. Правда, у Оксаночки все пальцы в деле. Но она этак не сможет — и одним-то запутывается. А трудно-то, трудно-то как, батюшки! Она совсем уж уморилась, а, считай, только самое начало прошла.

Валентина Никитична глянула на часы и обомлела. Ах ты, господи! Да ведь Оксаночка уже вот-вот придет, а у нее еще ничего не сготовлено. Потом, на кухне, занимаясь своими обычными делами, она то и дело с сомнением поглядывала на свои руки и недоверчиво покачивала головой.

На следующее утро, проводив Оксаночку в школу, она подошла к пианино с еще большей робостью, чем накануне. Поди, вчера как-то нечаянно вышло, случайно, а сегодня уж ничего не получится. Однако и на этот раз — не сразу, не вдруг — но звуки смирились, подчинялись ей. Теперь Валентина Никитична удивлялась, как это она раньше не слышала мелодии, музыки в этом этюде.

Недели через две Валентина Никитична уже могла проиграть этюд с начала до конца. Правда, только одной рукой. Да и то медленно — быстро-то у нее пальцы не попевали. Правая рука, оказывается, в музыке тоже главная, она весь мотив и выводит. Но получается он какой-то голый, неприкрытый, весь наружу. Когда Оксаночка играет двумя руками — совсем другое дело. Вот справа раздался звук, такой одинокий, тоскливый, будто вскрикнул: «Ау, есть ли еще кто?» Тут слева и откликаются ему сразу несколько голосов: «Тут мы, тут!» Да так живо, так весело — сразу и настроение другое.

Хорошо усвоив игру правой рукой, Валентина Никитична принялась за левую. И тут вышла беда. Можно сказать, полная осечка вышла. Нет, запомнить-то она запомнила, когда какие кла-

виши жать. А вот попробуй изловчись сразу с двумя или даже тремя справиться! У Оксаночки, хоть и малы еще ручонки, ловко выходит. А она, как ни тянет, как ни выворачивает пальцы, никак не получается. Ну прямо ни в какую! Зато правой рукой наловчилась всю. А ведь правая рука — она всему голова: главную мелодию выводит, всю музыку держит. А левая — та только подголоски подает. Правда, подголоски эти как бы одевают мелодию, распевают.

Но когда ее корявые узловатые пальцы неуклюже тыкались в клавиши, она слышала не испуганные всхлипывающие звуки, которые натужно старались, но никак не могли зацепиться друг за дружку. Нет, она слышала другое. Мелодия этюда — не эта, голая, плоская, а та, полная, кудрявая от множества бегучих звуков, — музыка эта постоянно жила в ней и начинала звучать, как только рождался первый ее звук. И так звучала естественно, так внятно, что Валентина Никитична отчетливо слышала и то, что должна была, но так и не смогла ее такая неловкая, неизворотливая левая рука. Помаевшись, она скоро поняла тщетность своих стараний и решила: «Ну и бог с ним! Буду играть одной правой, все ж-ки она тут главная».

Когда она впервые довела фамажор до конца, после весь день не переставала удивляться себе, порой с сомнением покачивала головой и смущенно улыбалась. Когда разговаривала с соседками, все ждала, что они заметят в ней необычность и начнут выспрашивать. А в магазине вдруг пришла к ней шальная, сумасбродная мысль — а вот взять да спросить этих женщин из очереди: «А вы сможете сыграть фамажор?». И усмехнулась, представив, как они удивились бы. Внимательно оглядев всех в очереди, она определила: нет, никто из них этюда сыграть не сможет. И вдруг — может быть, впервые в жизни — почувствовала себя в чем-то отличной от других. Ей даже чуточку стало жаль остальных.

Человек она общительный, компанейский, и тайна ее так и ворочалась в ней, так и рвалась наружу. Страсть как хотелось поделиться с подружками-соседками. Но она одергивала себя: нет, первыми должны узнать об этом дети. А детей своих она ждала со дня на день и всех сразу. Сын с семьей в кои-то веки отпуск решил у матери провести. Даже внук Олежка наведается, уж и экзамены раньше сдал. Галина с юга за ними заедет — вместе прикатят.

Поборов в себе страх, поднялась на верхотуру, в Галинину квартиру, навела там порядок и наготовила еды, чтобы было чем встретить дорогих гостей.

Они приехали утром, ввалились веселой ватагой и сразу напустили в квартиру и шуму, и смеху, и свету. Она кидалась от одного к другому, не могла наглядеться и надивиться. Господи! Юрашка-то лысеть начал! Неужто к старости повернуло?! Зато Олежку прямо не узнать — вытянулся, омужичел, в плечах раздался. Кра-асавец! Поди-ка, и девчонка уж есть. А Лидя — жена Юрашки — чуток располнела, и это ей так идет! Галинка (тьфу, чтоб не сглазить!) хорошо выглядит. И Миша ее посвежел — видать, юг тоже на пользу пошел. Ну и слава богу!

Галина перво-наперво усадила дочку за пианино, играть велела. И осталась довольна — эту Оksана знает назубок. Она даже, кажется, удивилась и похвалила мать: «А я еще сомневалась! Да в другой раз на такого классного педагога оставлю без раздумий». Валентина Никитична засмущалась и рванулась было сказать, что и она вот, мол, тоже, но сдержалась — ладно, после.

Весь день шебутились у Галинки — распаковывали чемоданы да купались с дороги, а после сидели все вместе за семейным столом. И уж только вечером пошли к Валентине Никитичне — поглядеть, как живет мать, да выпить чаю с ее знаменитыми пышками.

За чаем все хвалили ее стряпню, спра-

шивали, не надо ли ей чего, и снова уговаривали ехать на курорт — они и путевку достанут, и денег, сколько надо, дадут. Она же говорила, что живет хорошо и ничего ей не надо — все у нее есть и пенсии хватает. И ни на какой курорт она сроду не поедет — ноги ей сейчас лежат в поликлинике электричеством и, даст бог, это поможет. Нет, курорт ей не нужен. А вот на родину свою она бы... Но ей не дали договорить: ехать такую дальницу, когда там ни родных, ни знакомых, поди, и дома того, где жила, давно уж нет — ехать туда просто блажь и глупость. Вот на курорт — другое дело!

И вот, когда уже напились чаю, когда зажгли свет и стало в комнате по-особому уютно, семейно, Валентина Никитична встала. Все поняли, что она хочет что-то сказать, и замолкли. И тогда она начала:

— Дети! Детки мои! Вот, значит, тут какое дело. Выходит, я...

Но слов она больше не нашла, подошла к пианино, открыла крышку, села. Но тут же встала и громко, торжественно объявила:

— Фамажор!

Подумала и добавила потише и не столь торжественно:

— Одной рукой.

Боясь ошибиться, играла она медленно, не замечая, что в тех местах, где должна бы вступать левая рука, она не про себя, а вслух выговаривает нараспев: «Ти-та, ти-та, там, там!»

Она играла, и в памяти воскресали куски ее жизни. Сегодня она видела их особенно ясно, была уверена, что и дети ее чувствуют сейчас то же самое, и была очень благодарна им за это.

Закончив, она опустила крышку пианино, встала и, как положено, чинно поклонилась всем. Они секунду еще помолчали и только потом начали хохотать. Как они хохотали! Будто бес щекотал их, не отпускал. Они уж изнемогли, а остановиться никак не могут. Юрий упал на диван, и скрипучие пружины хо-

хотали вместе с ним. Галина бессильно уронила голову на столешню и углом скатерти утирала глаза. Олег как-то смешно подпрыгивал, обхватив голову руками, и казалось, что он поднимает себя за уши.

— Ой, не могу! Ой, держите меня!

— Как — «фамажор!»? Одной рукой?

— Во мать! Во отколола номер!

— Маргарита Лонг — да и только!

— Ну бабуля, ну юмористка!

— Вот это представление! Цирк!

Блеск!

— Ох, ну нельзя же так сразу! Ты бы хоть предупредила. А так ведь и помереть можно.

— Ну точно — накормила, напоила и рассмешила. Ну спасибочки!

Она так и стояла у пианино, не в силах сдвинуться с места. В нее будто вбили кол — грубый, неотесанный, и она боялась шевельнуться, чтобы не занозить душу. Потом она провожала гостей и убирала посуду, но как-то машинально, не понимая до конца — она это или не она. В кровати никак не могла согреться, хотя покидала на себя все одеяла. Холод шел не снаружи, а изнутри.

Утром пораньше, чтобы застать дома,

Валентина Никитична поднялась на третий этаж к Лизавете и велела ей, если хочет, забирать пианино сегодня же. Деньги пусть назначит сама — она в этом деле больше соображает — и отдает в рассрочку, какими угодно порциями.

Лизавета, боясь, что соседка раздумает, в обед привела с работы мужиков, и они переселили ее музыку двумя этажами выше. Валентина Никитична смотрела, как выносят пианино, и ей казалось, что это выносят гроб и что лежит в нем кто-то очень ей родной и близкий. Потом она словно за покойником помыла в доме полы и легла.

Ни в этот, ни на следующий день она не встала. Ей сделалось худо. И озабоченные дети на цыпочках ходили вокруг и не знали, что и подумать: с чего бы это вдруг?

Врач, осмотрев ее, спросил, не было ли накануне потрясения. И все дружно сказали, что если и было, то только приятное — в кои-то веки все дети и внуки к ней собрались.

— В ее возрасте следует избегать сильных эмоций, даже приятных, — строго сказал врач. — Иногда старое сердце и радости вынести не может.

На том и порешили.



Знак А. М. (Красноярск).
ПОРТРЕТ Г. Л. ВАСИЛЬЕ-
ВОЙ. 1982. Х., м.



Вертков Н. В. (Кемерово). СТОМАТОЛОГИ. Груп-
повой портрет. 1985. Х., м.



Чернов С. И. (Барнаул). **РЯДОВОЙ ДО-**
РОНИН. 1942. Б., кар.



Корягин Р. И. (Кемерово).
ГОНЧАРОВ. 1985. Металл, сварка.

Кравчук В. П. (Кемерово). Иллюстрация
к кн. В. Баянова «Зазимок».



Алексеева И. А., Егоров С. Н. (Красноярск). Гобелен «МУЗЫКА». 1984. Шерсть.

Ананьин А. М. (Кемерово). ЧАБАНЫ (из серии «Жизнь в горах Алтая»). 1985. Литография.





Зевакин В. С. (Кемерово). ПО-
СЛЕДНИЙ РЕЙС. 1985. Х., м.



Тарнавская А. А. (Кемерово)
БАБУШКИНО КРЫЛЬЦО. 1984. Х., м

РОДИМЫЙ КРАЙ

Чего хочу я в этом мире,
Когда нашел судьбу свою?
Зеленый гул всея Сибири
Не кружит голову мою.

Хотел с природой породниться,
Но к дымным городам приник.
Природа — словно заграница.
Я не учил ее язык.

Но есть живая здесь земля! —
Не только горные породы.
Из всей предложенной природы
Всего понятней тополя.

Они шумят, расправив кроны.
Но как мне быть с душой моей:
Ей умершие терриконы
Живых роднее тополей.

Здесь гром промышленности тяжелой
Не бытом стал, а бытием.
И мы всерьез, а не с натяжкой,
Родимый край судьбой зовем.

ТЕРРИКОНЫ

I

Их вагонеткой вывозили
Десятки лет из-под земли.
Они стояли и дымили.
И стать землею не смогли.

Они, быть может, и хотели
Хоть для полыни стать жильем.
Но изнутри они горели
Каменноугольным огнем.

Другая жизнь дышала жаром,
Нутро в золу перевода.
И снова становились паром
Осадки снега и дождя.

Но терриконы догорели.
Стояли мертвые сперва.
И вдруг травой запестрели.
К ним прикоснулась синева.

Они не тлели, не дымили.
В них поселилась тишина.
Они высокий воздух пили.
Но не напились дополна.

По ним «БелАЗы» проползают.
Вниз — полные, вверх — налегке.
Ландшафт старинный разгребают
Ковши огромных «ЭКГ».

Горельник кстати пригодился.
Он на отсыпку трасс пойдет.
А террикон уже прижился.
Нет-нет, да тяжело вздохнет.

И этим вздохом подымает
Глубинный жар души своей.
И боль мою не уменьшает
Большая польза для людей.

Внутри его последней мерой
Перекипает древний газ.
И мезозойской пахнет эрой
Слеза, упавшая из глаз.

Перед огнем не знал он страху.
Его жестоко замкнут круг.
— Мир праху, друг, — скажу, —
мир праху!
Мир праху твоему, мой друг.

II

Наполняя гулкой тишиною
Все равнины брошенной земли,
На восток, горбатою волною,
Терриконы старые ушли.

В них — минувших дней
преображение,
Пятилеток главные дела.

Узнаю: земное притяженье,
Серый камень, черная зола.

Даже то, что становилось паром,
И как будто жило наяву,
Подымалось газом и угаром,
Даже дым! — отлился в синеву.

А внутри у терриконов — память,
Прежней жизни прогоревший след.
Может быть, руками каждый

камень

В эту пустоту слагал мой дед?

Ничего не спросишь у породы.
Разребай промышленный пейзаж!
И среди защитников природы
Радостный царит ажиотаж.

Пусть стоит нелепое создание
Памятником детства моего!
Но во всем огромном мирозданье
Не находят места для него!..

Он — еще предмет живой природы.
И живой воспроизводит звук.
Там живет мой дед, внутри породы.
Заглушает камень сердца стук.

Дайте зеленеть ему травую!
Дайте тополями обрасти!
Дайте стать природою живою!
Дайте душу грешную спасти!

Не дают!.. Он затемняет небо.
Прошрое, хоть ты благослови
Пасынков промышленного хлеба.
Памятники горя и любви.

МУЗЫКА

Шахтер с окраины барачной
Срезает сквер наискосок.
На нем торчит пиджак невзрачный.
В карманах — мыло, тормозок.

Одет, как все, не на параде.
И смена нынче — не рекорд.
Сперва побудет на наряде.
Потом спецовку разберет.

Потом — последняя затяжка.
Окурок — под ноги. И — в клеть.
А там — работай, такелажка.
Гони затяжки — ставить крепь.

В дежурке пляшут телефоны.
Гудки в дежурке голосят.
Про этот лес, про эти тонны
Слова по проводам летят.

Без перерыва, без запинки
Играют сутками, на бис,
Оркестры «Зиминки», «Дзержинки»,
«Калининки» и Три-Три-бис.

И весь Прокопьевск в эстакадах
Одною музыкой живет.
И паровоз, покрытый чадом,
Свою охрипшую руладу
Косматым паром в пыль вобьет.

К нам эта музыка сквозь годы,
Сквозь толщи глины и породы
Пробилась, чтобы обогреть
Страны огромные заводы,
В печи звучать, в душе — гореть.

Она не каждому давала
В оркестрах пламенных играть.
Давила крепи из металла.
И виртуозов оглушала.
И звуками их засыпала.
И оставляла засыпать.

И кто б узнал, когда увидел,
Как он шагает налегке:
Идет

великий

исполнитель.

В таком невзрачном пиджаке.

СУРОВАЯ МУЗА

Страницы жизни поэта В. Д. Федорова

Вспоминаю один из наших разговоров с Василием Дмитриевичем. Умер Твардовский. Страна едва успела отгоревать о своем великом поэте — появились воспоминания. В газетах, в журналах — тонких и толстых. Писали люди, которые хорошо знали Твардовского. Писали и те, кто жили в сторонке от его большой сложной человеческой дороги.

Василий Дмитриевич близко к сердцу принимал все, что касалось Твардовского, горячо и уважительно относился к его высокому таланту, гордился знакомством с поэтом. Наверно, потому суетно вокруг имени Александра Трифоновича воспринимал с откровенной неприязнью.

Как-то в Марьевке, очевидно, только что прочитав какие-то очередные воспоминания о поэте, он сказал раздраженно: — Будто при жизни не знали, что Твардовский поэт великий. Народ это знал, а они не знали. А сейчас, видишь ли, догадались...

Потом, успокоившись, он снова вернулся к этому разговору:

— А писать о Твардовском надо. Только без сюсюканья. Всю правду. Пусть даже она порой тяжела. Сам он эту правду нес в стихе и в сердце. Нес до конца своих дней. По-солдатски...

И после короткой паузы добавил:

— И мне хочется написать о нем. Мы с ним все-таки не чужими были, хотя в наших отношениях случалось всякое. И нелады были. А запомнилось более существенное...

Не один раз я думал об этом нашем разговоре, пока решился рассказать о Василии Дмитриевиче — старшем товарище и учителе. Постепенно пришло внутреннее оправдание: многое из того, что я знаю о нем, не знает никто или почти никто. А значит, умолчание мое будет неправомерным. Память о прекрасном русском поэте должна быть как можно более правдивой и цельной. Ее надо собирать по крупицам, собирать общими силами с глубокой совестью и тщанием, дабы не исказить облик поэта.

Мои воспоминания о Василии Дмитриевиче Федорове будут носить дробный характер. Я сознательно пошел по этому пути, посчитав, что из частностей легче воссоздать общее.

1963 год. Всероссийское совещание молодых поэтов. В числе тридцати с небольшим участников совещания двое кузбассовцев — Виктор Баянов и я. Оба порядочно трусим. Это первый наш серьезный выход «на народ». Виктору еще труднее — он впервые в Москве.

Первый день совещания. Небольшой зал густо набит молодежью. В президиуме — видные советские поэты. Идет шепоток среди участников: «Вон тот — видишь? — Смеляков. А рядом — Борис Ручьев. Второй справа — Василий Федоров...» Знакомые, давно любимые имена. С любопытством разглядываю Василия Федорова. За полгода до этого готовил по его стихам телевизионную пере-

дчу. Мне нравились его стихи, манера его письма, сдержанная и в то же время раскрепощенная до открытой естественности...

Лицо Василия Дмитриевича мне показалось тогда усталым и немного печальным. Я хорошо видел его с третьего или четвертого ряда. Широкие кустистые брови чуть насулены, грива густых седеющих волос раскосмачена.

С докладом выступает Сергей Наровчатов. Все мы полны внимания — идет разговор о русской поэзии последних лет, о ее достижениях и просчетах. Дошла в докладе очередь и до наших стихов. К нам, молодым, докладчик был настроен довольно миролюбиво и, пожалуй, больше похваливал, чем ругал наши сочинения. Дважды упомянул он и мое имя. И даже процитировал несколько строк из моего стихотворения «Глобус». При этом он назвал меня поэтом-«кемеровцем», что прозвучало немного непривычно для меня. Все-таки мы привыкли называть себя кемеровчанами...

Привожу эту деталь только потому, что вспомнилось, как отозвался на слово «кемеровец» Василий Дмитриевич. Оно как будто пробудило его от какой-то внутренней задумчивости и отрешенности, он вскинул голову, взглянул сначала на Наровчатова, затем окинул зал широким заинтересованным взглядом. В этот миг мне счастливо подумалось, что поэт искал «своих» — в то время я уже знал, что место его рождения — Кемерово. Значит, не забыл он свою малую родину, далекую теперь от него Сибирь.

Моя догадка подтвердилась чуть позднее, когда стали представлять участников совещания. Василий Дмитриевич глядел на меня и Баянова с откровенным любопытством и, как мне показалось, испытующе...

В этот же день начались семинарские занятия, а проще говоря — литературная учеба у мастеров слова. Все шло своим чередом. О моих стихах говорил кто-то из критиков, потом обстоятельно высту-

пила Юлия Друнина, а вот моему другу Вите Баянову в тот раз явно не повезло. По его стихам готовился выступить замечательный советский поэт Борис Ручьев, но в последний момент Ручьев приболел, и выступление его не состоялось. Мы с Баяновым порядком расстроились, хотя в тот же вечер нам посчастливилось встретиться с Борисом Александровичем в его номере. И там состоялся долгий и запоминающийся разговор с поэтом. Мы читали ему свои стихи, потом Ручьев читал нам многое из неопубликованного. Автор знаменитого «Красного солнышка» (за эту книгу поэт был удостоен Государственной премии РСФСР) очень тепло принял нас, хорошо и подробно говорил о стихах Баянова. Правда, было немножко жаль, что эти слова прозвучали не с трибуны...

С Василием Дмитриевичем мы встретились на другой день. Встретились, можно сказать, случайно, в коридоре, в перерыве между семинарскими занятиями. С кем-то он сидел на диванчике, мы с Баяновым проходили мимо, и он, заметив нас, позвал к себе.

Я не запомнил толком этот короткий разговор, но в памяти осталось: говорил с нами Василий Дмитриевич просто, по-землячески, ободряюще. Расспрашивал нас о Кузбассе, о своих родных местах, о литературной жизни в области, о наших старших товарищах по перу, которых он знал. Особо спросил о Евгении Сергеевиче Буравлеве. С ним, как оказалось, его соединяла давняя непрерывающаяся дружба. Под конец разговора поэт сказал:

— Думаю, будущим летом побывать на родине. Тянет меня туда. — Потом, как-то заметно погрузнев, тихо, будто для себя, добавил: — От этой сутолоки тянет...

Не знаю, побывал ли на будущий год Василий Дмитриевич в родной ему Марьевке. В ту пору он наведывался туда, минуя Кемерово, через Новосибирск, где у него жили близкие родственники.

Следующая моя встреча с поэтом произошла почти через три года.

В 1966 году в Кемерове проходило зональное совещание молодых литераторов Урала и Западной Сибири. Его участники, молодые прозаики и поэты, были разбиты на несколько семинаров, которыми руководили ведущие прозаики и поэты России: Антонина Коптяева, Сергей Антонов, Ярослав Смеляков, Дмитрий Ковалев, Леонид Решетников и другие. Одним из поэтических семинаров руководил Василий Дмитриевич Федоров.

В перерывах между занятиями участники, переговариваясь между собой, отмечали: «Очень интересно у Федорова и Смелякова. Там спорят по сути. Если хвалят — за дело, а снимают стружку, так по большому счету».

Писатели моего поколения, связанные жизнью своей с Уралом и Сибирью, уверен, согласятся со мной в том, что Кемеровское зональное совещание вывело на литературную дорогу большой и крепкий отряд одаренной творческой молодежи, которая является сейчас костяком писательских организаций зауральского региона страны и во многом определяет сегодняшний день и творческий уровень литературного движения края. Голоса многих тогдашних участников хорошо слышны теперь всесоюзному читателю.

В дни семинара с Василием Дмитриевичем мы встретились всего два-три раза, встретились уже как добрые знакомые. Особенно я почувствовал это во время прощальной встречи, когда вместе с моим старым другом Евгением Буравлевым беседовали с Федоровым сначала за дружеским столом, а потом долго бродили по Притомской набережной и притихшим улицам вечернего города.

Помню, у Василия Дмитриевича было хорошее, приподнятое настроение, он легко переходил от серьеза к шутке, с душевной теплотой говорил о приглянувшихся ему молодых поэтах. С особой расположенностью отзывался о челябинском поэте Вячеславе Богданове:

— Надежный паренек. И ростом мал, но удал. Слово чувствует, за землю держится крепко. Без всяких литературных пузырей...

Через десять с небольшим лет в один из своих приездов в Марьевку, на родину поэта, я застал его в удрученном состоянии. Печально и как-то виновато Василий Дмитриевич сказал:

— Умер Слава Богданов. Телеграмма пришла. Совсем еще молодой... — Последняя фраза похожа была на глубокий вздох.

Мне не однажды приходилось слышать о том, что Федоров с большой настороженностью относится к молодым литераторам, что он якобы никому не помог «выйти в люди». Подобное мнение мне кажется глубоко ошибочным. Только в моей памяти удержалось более десятка примеров, свидетельствующих о неподдельном внимании поэта к творческой молодежи. Говорили мне об этом молодые поэты Киева, Новгорода, Кирова, Горького, которым он помог в их творческом становлении. А уж о поэтах-сибиряках и говорить нечего. Многие из моих сверстников, да и поэты более младшего поколения, не обделены были его любовью и вниманием. Алтайские поэты Николай Черкасов и Александр Родионов, кемеровчане — Виктор Баянов, Владимир Матвеев, Владимир Иванов, Николай Колмогоров — всех их, пусть не в одинаковой мере, коснулось расположение Василия Дмитриевича. А Виктора Баянова он особенно любил и всегда высоко ценил его поэзию.

И все-таки в молве о нем как о человеке сдержанном, не допускающем фамильярности и панибратства, умеющем вовремя одернуть и поставить на место чересчур расторопного молодого поэта, была своя правда.

Да, Василий Дмитриевич всегда нетерпимо относился ко всякого рода литературной суеде и толкотне, не выносил расчётливое подхалимство и отвечал на это чаще всего с нескрываемой пря-

мотой или откровенной замкнутостью и отчуждением.

Его можно было понять как человека и поэта, которому пришлось самому торить свой нелегкий путь в большую литературу. Он никогда не прятался за чьими-то широкими плечами, не искал себе опекунов и покровителей. Единственными его помощниками на пути к признанию были неустанный труд ума и сердца, крепкий сибирский характер да высокий человеческий талант. Наверно, поэтому однажды обмолвился в общем разговоре: «Не люблю молодых поэтов с острыми локтями, которые с усердием, достойным лучшего применения, рвутся к свадебному пирогу».

Он имел полное право на эти слова.

Прошло еще шесть лет с того памятного зонального семинара.

В эти годы мои встречи с Василием Дмитриевичем были редки и, как правило, необязательны и кратковременны. То мы случайно встречались в Москве в Центральном Доме литератора, то в Марьевке у его родни, — Федоров задумал поставить светлый просторный дом на высоком берегу озера Кайдор. Марьевские жители называли это место Назаркиной горой. В дружеских разговорах у Василия Дмитриевича проскальзывало желание вести строительство дома самому, по своему проекту, идя на поводу своей фантазии. Мы, его друзья и товарищи, обещали ему свою посильную поддержку, хотя вряд ли кто из нас обладал достаточным опытом в плотницких делах. Да и у самого поэта, если и был какой опыт, то с годами, наверняка, утратился. Зато мечтам давалась полная воля.

Действительность оказалась куда прозаичней. Дом на Назаркиной горе строился долго, и сюжет этого строительства мог бы вполне послужить основой для небольшой пьесы с трагикомическим уклоном.

Дело в том, что Василий Дмитриевич

при всей своей человеческой умудренности был начисто лишен практической сметки, чем вполне удачно воспользовались строители-подрядчики, отнесясь к этому делу со всей безалаберностью и безответственностью. Следить за ними было некому: заказчик находился в Москве. И все-таки, несмотря на все злоключения и невзгоды, дом был построен. Со стороны он казался обычным крестьянским домом, но его возвышало удачно выбранное место, неоглядный простор да и само имя поэта.

Василий Дмитриевич по-детски радовался новому жилью, хотя дом был построен с большими недоделками. И потому несколько комично выглядел в этом доме его хозяин, затыкающий щели между бревнами носовыми платками.

Позднее дом немного подлатали. А сам поэт вместе с женой Ларисой Федоровной усердно занялся устройством усадьбы: готовили землю под грядки лука и редиса, посадили деревья. Даже несколько дубков и кедрешек. Многие из деревьев прижились. Василий Дмитриевич откровенно гордился ими. С дубками, правда, повезло меньше: росли они медленно, можно сказать, неприметно, а кедрешки совсем захирели. Надо было видеть огорченное лицо поэта, который буквально разыскивал саженцы кедра, затопленные буйными зарослями полыни...

Весной 1973 года по инициативе Евгения Сергеевича Буравлева была создана творческая бригада, перед которой была поставлена цель — подготовить серию поэтических репортажей для областной газеты «Кузбасс» о том, как встречает новую весну трудовой Кузбасс. В бригаду кроме Буравлева вошли Виктор Баянов, я и молодой одаренный художник Коля Бурцев. Работу решено было начать с севера области, с аграрных районов.

— Предлагаю начать поездку с Яйского района, а точнее с Марьевки, — сказал Евгений Сергеевич. — С родины на-

шего поэта. Я знаю — Василий Дмитриевич уже там, на своей Назаркиной горе.

Помню, нагрянули мы к Федоровым неожиданно. Даже Лариса Федоровна, всегда до краев заряженная оптимизмом, и та чуточку растерялась.

Гостеприимству хозяев в этот вечер не было предела. Чего только не раздобыла Лариса Федоровна из своих потайных сусеков. Длинный стол, сделанный из цельной кедровой плахи, гордость Василия Дмитриевича, был щедро сервирован. На нем счастливо уживались отварная картошка, грибки и квашеная капуста с московскими деликатесами.

Сам поэт был явно в хорошем настроении, чуть подтрунивал над излишней хлопотливостью жены, расспрашивал нас о целях нашей поездки, одобрительно кивал.

Этот вечер мы сообща посчитали своеобразным новосельем Федоровых на Назаркиной горе. Разговор наш затянулся за полночь. Уже уgomонились Коля Бурцев и Витя Баянов — ушли спать на веранду, отгремела на кухне посудой Лариса Федоровна, начал потихоньку подрывать и я. И только Василий Дмитриевич и Женя Буравлев долго еще продолжали негромкий разговор «за жизнь», вспоминая им одним известные житейские истории, давние знакомства и не столь давние потери...

Никто из нас не знал тогда, что не пройдет и двух лет — тяжелая болезнь оборвет жизнь Евгения Сергеевича, талантливое поэта-сибиряка, человека сложного, неоднозначного и в то же время с резко очерченным характером.

Василий Дмитриевич стал наезжать в Марьевку ежегодно. И дорога его в родную деревню теперь уже пролегалла не через Новосибирск, а через Кемерово, где семью Федоровых встречали всегда с большим радушием. В Кузбассе у Василия Дмитриевича появилось немало но-

вых друзей и знакомых, а для Ларисы Федоровны Кемерово стало прямо-таки родным местом. Ее искреннюю общительность и открытый характер по достоинству оценили не только мы, но и паши жены, знакомые. Она стала своим человеком в библиотеках, книжных магазинах, в вузах и театрах.

В эти годы стали более частыми и мои встречи с поэтом. Вместе с друзьями я встречал его в Кемерово, проводил с ним целые вечера, провожал в Марьевку. Приезжал он обычно в первой половине июня, норовил, как он любил выразиться, угадать на молодую колбу. Зачастую и колбу эту мы собирали вместе на давно уже облюбованных местах.

Помню, Василий Дмитриевич искренне переживал потерю Буравлева, при случае всегда с теплотой вспоминал о нем как о близком по духу человеке и поэте. Со временем я заметил, что после смерти Буравлева Василий Дмитриевич стал значительно проще и открытее со мной, мне иногда, грешным делом, казалось, что он как бы отделяет меня от всех других сибиряков-поэтов, более внимателен ко мне, более доверчив. Думаю, что в такие минуты он пробовал найти во мне то, что было для него во многом утеряно с уходом Буравлева. К Виктору Баянову он относился с прежней любовью и расположением, хотя встречались они в эти годы не так уж и часто.

Всякий раз, приезжая в Сибирь, поэт звал меня погостить в Марьевку. И я не однажды заглядывал к нему, иногда по делу, а то и просто так — повидаться. Заглядывал чаще всего не один, а в силу своего компанейского характера то с поэтами, то с художниками, а однажды без всякого предупреждения нагрянул в Марьевку целым автобусом. Правда, потом казнил себя за это, хотя все тогда обошлось хорошо. Впоследствии Василий Дмитриевич вспоминал об этом с улыбкой и отнюдь не осуждающе. Потому историю с автобусом, наверно, не грех вспомнить...

В дороге случилось непредвиденное — поломался автобус. Несколько часов ушло на его починку, и в Марьевку мы приехали под вечер. Конечно, наделади там переполоху. Лариса сначала совсем растерялась: что делать с такой оравой? Василий Дмитриевич разрешил этот вопрос просто: надо ехать на речку, всех выкупать. А там видно будет. Поехали. Вечер выдался чудный. Вода в Яе была теплой и ласковой. После купания разложили на берегу веселый костер, раскинули скатерть-самобранку, стали готовить шашлыки.

Поэт в этот вечер был неподражаем. Куда девалась его обычная замкнутость, особенно заметная среди малознакомых людей. Он шутил с ребятами, не скупился на комплименты женщинам, читал стихи. Тогда я впервые услышал от него главы из новой поэмы «Женитьба Дон-Жуана». Конечно, в ту пору я еще не догадывался о высоких замыслах поэта, связанных с этой вещью, о масштабности и широте размаха этого произведения. Но в том, что он читал тогда на крутом берегу Яи, чувствовалось дыхание большой поэзии.

Не прошло и месяца, как мы снова встретились с Василием Дмитриевичем. Заехали мы к нему, помнится, попутно. Вместе с директором нашего издательства Виталием Банниковым и писателем Петром Ворошиловым. У Банникова были какие-то издательские дела к поэту.

В тот раз Василий Дмитриевич был в заметно удрученном состоянии. Он и жена его встретили нас как всегда радушно, но я не увидел в глазах поэта столь дорогой для меня открытости, бодрости духа. Улучив момент, вспонимающая Лариса Федоровна шепнула мне:

— Не в настроении он в эти дни. Что-то не заладилось с поэмой — вот он и маяется, места себе не находит...

— Может, не вовремя мы?

— Что вы! — замахала руками Лариса Федоровна. — Он людям всегда рад. Вот только, что в душе творится, скрыть не

может. Больно мне на него такого смотреть.

Я помнил, что Василий Дмитриевич работает в последнее время над завершением своего «Дон-Жуана», и по простоте душевной считал, что у такого, как он, мастера, все должно получаться по самому высокому счету. А выходит — получается не все, что-то выпадает из рук, не уступает, не поддается атаке ума и сердца.

Недолго погостив у поэта, мы было уже засобирались домой, как вдруг Василий Дмитриевич, будто стряхнув с плеч какую-то одному ему ведомую тяжесть, остановил наши сборы:

— Знаете что, не отпускаю я вас домой на ночь глядя. Давайте-ка оставайтесь ночевать. А сейчас поедем на речку. Выкупаемся — усталость как рукой снимет.

Мне показалось, что последнюю фразу он сказал самому себе. Купание в прохладной яйской воде и впрямь на всех нас действовало благотворно. Поддался общему хорошему настроению и поэт. Посвежевший, с обмотанным вокруг головы полотенцем, он сидел на раскинутом байковом одеяльце, поджав под себя ноги, похожий на бедуина, и читал нам новые стихи — серьезные и полущутливые, которые были написаны им в Марьевке. Я слушал его и чувствовал, как яснее душа поэта, как бы набираясь новых сил от земли родимой...

А вскоре после этого в издательстве «Современник» вышла отдельной книгой эпическая поэма Василия Федорова «Женитьба Дон-Жуана», потом она была издана массовым тиражом в «Роман-газете».

Прочитав поэму, я понял, какого громадного напряжения сил и ума потребовало это замечательное произведение от уже немолодого поэта, поэзия которого не только не постарела, но и приобрела новые молодые качества, завоевала новые высоты. Это ли не свидетельство силы и мужества большого таланта, высокого взлета человеческой души.

Василий Дмитриевич всегда сторонился излишнего внимания к себе. Превеликого труда стоило уговорить его выступить по местному телевидению. А сколько маяты пережили работники Кемеровской телестудии, задумав снять фильм о поэте. Он никак не хотел да и не мог позировать перед камерой. И только когда съемки приобрели доверительную естественность, когда он пообвыкся с телевизионным народом, стало что-то получаться, хотя на будущие результаты съемок он смотрел скептически.

Мне кажется, не очень любил он и выступать с чтением своих стихов. На встречи с читателями соглашался всегда с большим трудом, особенно тогда, когда они ему казались не очень обязательными. Но были и исключения. О них я и расскажу.

В середине семидесятых годов в Яйском районе проходили встречи поэтов Кузбасса с сельскими тружениками. По предложению райкома партии одну из встреч решено было провести в Марьевке, пригласив на нее Василия Федорова и его жену Ларису Федоровну — профессионального прозаика и поэта. Смущало только одно: уж очень плохонький клуб был тогда в совхозе «Марьевский». В этой связи вспоминались строки поэта:

*Картина не типичная,
А видик постоянный:
Коровники кирпичные,
А клубик деревянный.*

Но после некоторых размышлений решили так: Василий Дмитриевич человек свой — поймет.

Федоров и его жена приглашение приняли. Не могли же они отказать своим землякам!

Встреча началась поздним вечером. В маленький деревянный клуб народу набилось теснехонько. Все шло своим чередом. Мы читали свои стихи. Сельчане дружно аплодировали. И тут случилось неожиданное: яркий высверк молнии

осветил окна, ахнул гром, и тяжелый ливень ударил по крыше клуба.

— Слово предоставляется нашему дорогому земляку поэту Василию Федорову, — выдержав паузу, сказал председательствующий.

Громкие аплодисменты слились со вторым раскатом грома. Василий Дмитриевич в этот грозовой вечер читал по-настоящему вдохновенно, а природа будто вторила его стихам, поддерживала их. Его голос то затихал, то креп в напряженной тишине зала.

Внезапно погас свет. Наверно, его отключили из-за сильной грозы. Но замешательство в зале было недолгим. Откуда-то принесли свечи, зажгли их. Вечер продолжался. Закончив чтение, Василий Дмитриевич довольно улыбнулся:

— Видно, природа решила проверить, хорошо ли помнят поэты свои стихи. Так что давайте держать экзамен!

И все мы снова по кругу читали стихи. Полутьмнота создала особое настроение в зале. Встреча прошла к общему удовольствию великолепно. Закончилась она, когда отгромыхала гроза, а в зале несколько раз мигнув, загорелся свет...

Вспоминается и совсем уж не столь давнее. Лето 1980 года. Василий Дмитриевич, что называется, в зените своей поэтической славы. Творчество его отмечено Государственной премией СССР. Одна за другой издаются и переиздаются его книги, о его поэзии много говорят и пишут. Но поэт по-прежнему скромн и как бы сторонится своей широкой известности.

Уже давно шел разговор о его большом литературном вечере у себя на родине, в Кузбассе. Вроде бы и время выбрали подходящее и место для вечера подходящее — концертный зал Кемеровской филармонии, а поэт долго не решается выступить перед своими земляками. Другьям признается честно: «Давно не выступал на людях. Вдруг ничего не получится».

И все-таки вечер состоялся. Надо было

видеть, как первничал Василий Дмитриевич перед его началом, переживал, что будет мало слушателей, что все может закончиться неудачей.

Вечер начался при густо набитом зале. Не было ни одного свободного места, кто поизворотливее — тащили откуда-то стулья, пристраивались в самых неожиданных местах, проходы были заполнены. Как выяснилось после, в зал попали далеко не все желающие увидеть и послушать любимого поэта.

Василий Дмитриевич вышел на сцену под шквал аплодисментов. После коротких приветственных слов, сказанных в его адрес, поэт начал читать стихи. Поначалу чувствовалось, что он с трудом преодолевает волнение, потом речь его стала свободнее, голос набрал силу.

Более двух часов продолжался этот незабываемый вечер. Поэт читал лучшие свои стихи, читал на свой выбор, читал по просьбе аудитории, отвечал на многочисленные вопросы и записки читателей. Охапки цветов, восторженные аплодисменты были ему благодарностью.

Василий Дмитриевич был натурой увлекающейся. От него я слышал, что в молодости он с азартом играл в шахматы. Мне не однажды случалось видеть его за игрой в бильярд. Помню, как расстраивался он после проигрышей — особенно не очень сильным соперникам. Но все эти страсти относились, так сказать, к городским пределам. А вот к рыбалке у него страсть была врожденная, марьевская, непреходящая. Конечно, с годами она немного поулеглась, но иногда просыпалась в нем с прежней молодой силой.

Обустроившись в доме на Назаркиной горе, поэт первым делом запасся всеми необходимыми для рыбалки снастями: купил удочки, спиннинг и даже приобрел где-то сделанную на заказ сеть. Он прямо-таки мечтал о хорошей удачливой рыбалке. К этому, как ему казалось,

располагали поросшие камышом, резучей осокой и травой мокрушей богатые воды озера Кайдор, а также легкоструйная с перекатами и заводями речка Яя.

Но реальная действительность оказалась намного скупее мечты поэта. До сего дело так и не дошло. Может, не очень умел его пользоваться. Как бы то ни было — щуки, караси и лини Кайдора не понесли от него урона. А на червяка и другую наживу рыба в Кайдоре да и на Яе клевала не очень-то охотно. За утреннюю или вечернюю зорю приходилось довольствоваться десятком, а то и меньше, пескарей да ельчишек. Но поэта это не расстраивало, он продолжал верить в рыбацкую удачу, а меня порой уверял, что рыбы в реке и озере пропасть, только надо уметь ее взять. И он, пожалуй, был прав. При общем старании без черной ухи мы оставались редко.

В Марьевке пришло к Василию Дмитриевичу и еще одно несколько неожиданное увлечение. Он стал собирать березовый кап. Часами ходил по окружным березовым колкам и рощам, высматривая диковинные наросты на теле деревьев. Он знал, что кап — прекрасный материал для всякого рода поделок. В руках опытного мастера густо свитый из древесных жил березовый нарост может превратиться в изящную деревянную чашу или вазу с затейливым орнаментом, самой природой задуманного рисунка, пронизывающего их тело.

Возле дома поэта, в его мастерской — слесарке, пристроенной к баньке, появились большие и малые образцы капа, для несведущего глаза похожие на обыкновенные коряги. Но особенно поражал воображение огромный кап, в причудливых формах которого человек, склонный к фантазии, мог найти множество неожиданных скульптурных композиций. Этот кап стоял возле крыльца, его приволокли невесть откуда на тракторе, и Василий Дмитриевич очень гордился своим сокровищем.

Поэт мечтал творить чудо из дерева,

он грешил сказкой и с убеждением фанатика верил, что ему удастся создать ее.

Для обработки капа нужен был инструмент. Как-то Василий Дмитриевич проговорился об этом, посетовав, что в магазинах ничего подходящего он найти не мог.

Среди кемеровских художников у меня было несколько знакомых резчиков по дереву. Один из них, Петр Лунев, пообещал мне помочь в этом деле. Слово свое Лунев сдержал: недели через две он принес мне целую охапку резцов и стамесок самой различной конфигурации. Сделаны они были несколько грубовато, не по-фабричному. Но когда я привез инструмент Василию Дмитриевичу, он ему искренне обрадовался. На мои слова, касающиеся эстетики отделки инструмента, поэт, побаюкав в руках каждый резец и стамеску, возразил мне:

— Главное не в этом. Видно, что все сработано знающим толк человеком. Инструмент сделан по руке.

В тот раз я рассказал Василию Федорову, что среди кемеровских художников-профессионалов есть настоящий мастер резьбы по дереву — Борис Павлович Заложных. И что важно: его любимый рабочий материал — кап. Его ковши, братины, вазы, ларцы и даже целые сервизы из капа побывали на многих выставках страны и за рубежом.

Поэт взял с меня слово познакомить его с Заложных. Бориса Павловича я предупредил об этом. Тот охотно согласился принять поэта у себя в мастерской, поделиться секретами своей редкой профессии.

В это же лето, уезжая из Кузбасса, Василий Дмитриевич повидался со старым мастером. Сожалею, что я не присутствовал при встрече. В мастерской художника поэт побывал вместе с Ларисой Федоровной и моей женой Тамарой Ивановной. После жена рассказывала: «Он радовался, как ребенок, который попал в

сказку. На Бориса Павловича смотрел чуть ли не влюбленными глазами»...

И еще о рыбалке. В каждый мой приезд в Марьевку, да и при встречах спозном в Кемерове, у нас обязательно заходила речь об общем нашем увлечении. С присущей для каждого рыбака страстью к перехлесту я рассказывал Василию Дмитриевичу рыбацкие байки, не жалея красок, расписывал мои таежные путешествия с друзьями, увлекательную охоту на хариуса и тайменя на горных речках, говорил о редких уловах, которые нет-нет да и выпадают на долю одержимого рыбака. Федоров с некоторой недоверчивостью слушал мои рассказы, но иногда я читал в его глазах откровенную зависть. Порой мои рассказы счастливо подкреплялись поданными к столу жирными тушками малосольного хариуса или широкими ломтями тайменя, ало лоснящимися на большой посудине. Поэт деликатно пробовал тайменя и хариуса, хвалил рыбу.

У меня была давняя тайная мысль сманить Василия Дмитриевича в родную моему сердцу Горную Шорию, потешить его настоящей рыбалкой. И это мне однажды удалось. Правда, сделал я это не без помощи моего верного товарища по таежным походам Николая Ивановича Соболева, старожилы Горной Шории, отличного рыбака и опытейшего таежника, биолога по образованию.

Я привез Соболева в Марьевку, познакомил с поэтом, который встретил меня уже привычным шутивым возгласом:

— Лара! Твоя жѣртва приехала. Бери, терзай его своими стихами.

С Ларисой Федоровной мы были действительно по-хорошему дружны. Она часто читала мне свои новые стихи, в Марьевке ей почти всегда хорошо писалось. Расспрашивала меня о наших общих друзьях, узнавала последние новости. Василий Дмитриевич в такие минуты смотрел на нас со снисходительным юмором, почти не вмешиваясь в наши разговоры.

И в этот раз мы разговорились с Ларисой, и я с опозданием вспомнил о Николае Ивановиче: человек он на Назаркиной горе новый, как они там с поэтом?

Когда я вышел из дома, поэт и мой товарищ сидели на крыльце и были так увлечены беседой, что не обратили на меня никакого внимания. Василий Дмитриевич обычно не так просто сходил с незнакомыми людьми. А тут все было иначе. С Николаем Ивановичем они подружились сразу, у них нашлось много общих тем для разговора. Особенно много и интересно говорили они тогда об экономических проблемах Сибири. И как-то само собой в этот мой приезд решился вопрос о нашей поездке с поэтом в Горную Шорию, хотя Лариса Федоровна сначала воспротивилась этому решению, опасаясь за здоровье мужа.

Поехали мы вчетвером: Василий Дмитриевич, я и наши жены. В Таштаголе, можно сказать, у самого входа в дикий таежный мир, к нам присоединились экипированные по всем рыбацким правилам Николай Иванович и художник Иван Данилович Лячин, мой постоянный спутник в таежных походах.

Маршрут на этот раз мы выбрали редкий и многообещающий: решили залететь на вертолете в верховья реки Малый Абакан, в самую что ни на есть глухомань. Никто из нас, кроме Николая Ивановича, раньше там не бывал. А, по его словам, места там были удивительные, рыбалка отменная.

Вертолет был обещан к вечеру следующего дня. Чтобы скоротать время, мы уехали в Кабырзу, в Дом рыбака, решение было там и заночевать.

Дом рыбака стоял в живописнейшем месте — на слиянии двух горных рек Мрассу и Пызаса. Небольшая возвышенность поднимала его над широким водоразделом, открывая взгляду неповторимый по красоте простор, увенчанный по горизонту многоцветием горных цепей.

Выйдя на просторную веранду, поэт воскликнул:

— Удивительные места! Буду хлопотать о здешней прописке!

После долгого вечернего разговора с местными старожилами Василий Дмитриевич засомневался в нашем немного рискованном предприятии:

— Зачем мне какой-то Абакан, да еще Малый? Оставляйте меня с женщинами здесь. Я буду им ловить рыбу, а они варить уху. Мне тут нравится...

Женщины его бурно поддерживали.

На следующий день мы улетели на Малый Абакан втроем. На прощание поэт сказал нам: «Буду ждать вашего возвращения». И не удержался от шутки: «Посмотрим, кто больше наловит».

Наш воздушный десант и впрямь оказался делом рискованным. Забросили нас на Абакан при хорошей погоде. Но вскоре тяжелые тучи закрыли перевал, отрезав нам обратный путь. Вертолет смог пробыть к нам только через полторы недели. А запас провизии был рассчитан дней на пять, не больше. Пришлось всерьез поголодать. Несколько дней жили на голой рыбной диете, думая при этом: хорошо, что Василий Дмитриевич не полетел с нами.

А рыбалка была отменной, такой, о которой мечтается любому истинному рыбаку...

Василий Дмитриевич и наши женщины, конечно, не дождались нас. Поэт через два-три дня заскучал среди горношорских красот, его неудержимо потянуло в родную Марьевку, на Назаркину гору, и он уехал туда при полной поддержке женщин.

Мои последние встречи с Василием Дмитриевичем запечатлелись в памяти до полной отчетливости, и мне нет надобности прибегать к записным книжкам и другим свидетельствам. И все-таки в одном случае я воспользуюсь документом. Летом 1980 года вместе с группой радиожурналистов мы побывали в Яйском районе — делали репортаж с уборочной. На обратном пути завернули в Марьев-

ку — повидаться с поэтом. Думали заехать на полчаса, а вышло иначе, пробыли мы в гостях у Федоровых почти три часа. Василий Дмитриевич подробно расспрашивал о том, как идет уборка хлебов в районе, какие виды на урожай. И тут кому-то из журналистов пришла идея записать мой разговор с поэтом на пленку. Интервью на Назаркиной горе!

То ли у хозяина дома было в эти минуты отличное настроение, то ли на него действовали наши разговоры о хороших делах на уборке, как бы то ни было — он охотно согласился на это интервью. Привожу его с документальной точностью.

Вопрос: — Василий Дмитриевич, вы раньше не так часто бывали в Марьевке. А сейчас, несмотря на большую занятость, каждое лето живете здесь.

Федоров: — Пожалуй, не совсем точно сказано, что раньше я редко приезжал в Марьевку. Я не бывал здесь, по существу, только в годы войны. Дело в том, что здесь со мной происходит что-то похожее на процесс обновления. В первое время энергия как бы покидает меня. А потом осматрюсь и вроде начинаю все заново. Тогда весь мир будто исчезает для меня, я забываю столичную суетолюку, споры и речи...

Для того чтобы глубже, конкретнее увидеть жизнь, я, например, затеваю для себя какое-нибудь маленькое строительство. Начни строить хотя бы баню, и ты сразу почувствуешь какие-то новые связи с людьми, у тебя возникает необходимость общения с ними по многим, до сих пор вряд ли ведомым тебе каналам. И эта работа, наблюдения за нею наверняка приведут тебя к каким-то новым размышлениям. Затеяв очередное строительство, я, к примеру, остро чувствовал озабоченность тем, что в наше время начинают совсем исчезать старые добротные профессии. Допустим, была профессия бондаря. Попробуйте найти теперь в Марьевке человека, который может сладить для хозяйства крепкую на-

дежную бочку березовой клепки. Не найдете. Хорошего столяра-краснодеревщика — тоже. Даже конопатчика не найдете. А плотника? Сейчас везде бетон, цемент. Опалубку сделал, залил, снял — и все искусство. Вот и приходится вздыхать о старых мастерах.

У меня есть стихотворение о русских плотниках. В нем я говорю о том, что от тех профессий остались только фамилии: «Нет вас, русские бондари, звонкие бондари. Только Бондарев есть».

Вопрос: — Василий Дмитриевич, я знаю, что вы прошли через немалые трудности в начале своего творческого пути. Вы нелегко входили в литературу, вам потребовалось много сил, много мужества для того, чтобы выстоять на творческих перепутьях. Откуда нашли вы эти силы, что помогло в эти годы?

Федоров: — Видимо то, что я не смотрел на творчество, как на личное дело. Я не стремился непременно печатать все, не стремился стать известным. Процесс творчества был для меня неизбежным. Печатали бы или нет меня, я все равно бы писал.

А трудности были оттого, что каждое новое поколение, с одной стороны, воспринимает традиции, а с другой — улавливает какие-то и новые тенденции. Не всегда эти тенденции понимает время. Вот сейчас, мне кажется, молодые поэты очень похожи друг на друга. Потому что они слишком много знают. Они знают, какие стихи напечатать, с какими не станут торопиться. И они стараются подогнать свой оригинальный, неповторимый материал под принятые мерки, сделать его общедоступным, похожим на другой, в надежде, что такие стихи легче пойдут в печать. Часто так и бывает. Но если у поэта свой голос, то к нему сначала присматриваются. Наверное, поэтому и мои стихи, которые долго не печатались, стали публиковать, говорить о них. Я никогда не писал с оглядкой на редакцию. Писал лишь о том, что меня волновало.

Вопрос: — Вы прожили большую творческую жизнь, многое сделали, многое видели. Ваш взгляд на сегодняшний день и состояние нашей поэзии?

Федоров: — Вопрос сложный. У нас в стране поэтов — только членов Союза писателей — около трех тысяч. Так вот, мне кажется, что эта массовость немножечко принижает качественность. В таком густом потоке стихов, имен порою трудно разобраться. И все-таки (если судить по молодой поэзии) мне иногда кажется, что стихи многих молодых поэтов смахивают на нашу «массовую» архитектуру. Как говорится, коробочек понастроили, и жить в них можно, и водопровод есть, и прочие удобства, а все-таки не до конца весело. Многим молодым поэтам иногда не хватает терпения на большую работу. А ведь оригинальное здание не возникает просто так, его не построишь с налету, бригадным способом. Тут нужна огромная работа, годы и годы. И лишь настоящим поэтам хватает терпения и мужества замыслить какие-то очень необходимые для времени стихи, поэму.

Совсем недавно умер оригинальнейший, самобытный советский поэт Леонид Мартынов. Он неповторим, он не похож ни на кого. А вспомним таких выдающихся мастеров, как Александр Твардовский, Михаил Исаковский. За последние годы ушло из жизни много больших, незаменимых поэтов.

Вопрос: — И последний вопрос, Василий Дмитриевич. Вы закончили большую работу над «Женитьбой Дон-Жуана», а теперь какие замыслы тревожат вас?

Федоров: — Я не очень люблю рассказывать о них. Это, мне кажется, создает определенные помехи в дальнейшей работе. Но я скажу о тех замыслах, рассказ о которых не выведет меня из строя. Я напечатал в прошлом году в журнале «Москва» повеллы «Сны поэта». Сейчас написаны новые, и, видимо, они будут собираться в книгу прозаическую. Говоря о молодой поэзии, я упустил вот

что: многие молодые слабо работают над формой стиха. Мы мало и не всегда умело пользуемся даже теми формами, которые открыты давно, формами классическими. Я опубликовал свои «Терцины» в «Новом мире», в «Современнике». Так, очевидно, будет складываться какой-то цикл, главы какой-то крупной вещи. Может быть, это будет своеобразная поэтическая сюита.

И еще. Работаю над новой книгой стихов. Их пока не печатаю, так как взял себе за правило публиковать стихи из будущей книги только тогда, когда их наберется достаточно для выбора.

Когда мы закончили наш непродолжительный разговор с Василием Федоровым, уже густел вечер. Шептала свои неторопливые древние песни речка Яя. Тихо шумели деревья. Живая душа природы слушала и создавала поэзию.

Весной 1984 года Василий Дмитриевич снова засобирался в свою Марьевку. Врачи настояли на Ессентуках — внушало опасения здоровье поэта. «Меня вылечит только Марьевка», — упорствовал он. Но в конце концов сдался...

19 апреля его не стало. Ночной звонок Ларисы Федоровны. Страшная весть. Мой вылет в Москву. Наполненный непоправимым горем вечер на Кутузовском среди родственников и близких поэта накануне похорон. Боткинская больница. Катафалк. Дом литератора в траурном убранстве. Гроб на возвышении, обтянутом крепом. Масса народа, пришедшего проститься с любимым поэтом. Общее горевание. Все это слилось в одно большое горе, горе на долгие годы, на всю жизнь.

Столетняя тропка круто падает по склону горы к озеру-старице. Идти по ней трудно. В полдень прошел короткий густой дождь. Тропка еще не подсохла как следует, ноги то и дело скользят по

суглинка. Василий Дмитриевич вел меня в тот день к дальнему краю озера, к своему родничку. Я не один раз видел этот родник, пил его студеною сладкую воду. Поэт издавна следил за родником, обходил его, говорил о нем, как о живом существе. Припоминаю его слова: «Приезжая в Марьевку, всякий раз вспоминаю древнюю старуху Кузьмиху. О ней напоминает мне родник, который по ее примеру я начинаю чистить, укреплять запруды и прилаживать лоток. Когда-то она взяла на себя добровольную обязанность содержать в чистоте и опрятности все родники приозерного берега, нынче в большинстве заболоченные. Меня же хватает только на один родник».

Я стоял тогда с ним у родника, и в душе моей звучали строки поэта о его

первой встрече с Музой, здесь, в этих местах, с Музой, которая предсказала деревенскому пареньку нелегкую судьбу поэта:

*Стояла
Скорбная такая!..
Вперед как-будто поглядела
И, на тревоги обрекая,
Меня заранее жалела.*

Муза не ошиблась в деревенском мальчике. Он оправдал ее предсказания и надежды. Из мальчика вырос прекрасный поэт, прославивший родную землю. Родник его поэзии чист и вечен. Из него будут благодарно пить многие поколения людей, которым дорога родная земля и высокое слово подлинной поэзии.

Борис Синявский

ДЕРЕВО В ГОРОДЕ

Мы любим города, в которых живем, потому как они, по самому большому счету, судьба наша. Мы с гордостью показываем их гостям и если при этом составляем маршрут так, чтобы пройти по самым привлекательным уголкам и миновать давно открытые и брошенные на бог весть какой срок траншеи и замусоренные улицы, то и тут проявляется наш патриотизм, пусть даже и наивный — хочется, чтобы о городе нашем думали даже лучше, чем он того объективно заслуживает.

Мы хвалим город перед гостями и ругаем его же в своем кругу именно потому, что любим его и стремимся к тому, чтобы завтра он стал краше и чище, чем есть сегодня. Привязанность к городу старожилов, вероятно, более преданна и слепа, чем то же самое чувство у людей из числа новоселов, но какой временной срок дает право именоваться старожилом — сказать точно, пожалуй, никто не возьмется. Я прожил в Кемерове полтора десятка лет. Достаточно, чтобы любить город, как свой родной, но еще и отчетливо видеть изъяны.

У каждого города свои проблемы, хватает их и у Кемерова. «Чем отличается наш областной центр? Что имеет самобытного, чем знаменит? Назвать затруднительно. Стоит сказать два слова, которые часто повторяют кемеровчане в письмах и разговорах — «безликость и приземленность». Так прямо и остро ставился вопрос на Кемеровской городской отчетно-выборной партийной конференции 1983 года. И задаться им могли только патриоты, люди, которым не безразлично: что он есть такое — Кемерово — в созвездии городов страны нашей. Доводилось и мне задавать себе подобные вопросы, самому же на них и отвечать. Вполне вероятно, что выводы мои не самые бесспорные, но оно и лучше — спор все же часто рождает истину. Полемические заметки не самый плохой способ высказаться о наболевшем, а что наболело, то это точно. Вполне достоин и вполне в состоянии Кемерово не кивать стыдливо на малый свой возраст, на сложности разного масштаба и быть красивым, современным и своеобразным по самому большому счету.

Так чего же нам не хватает?

В зеленой раме

Вспоминаются слова одного архитектора, который в шутку советовал молодому градоначальнику в случае отсутствия денег на строительство начать самое решительное озеленение. Скверами, аллеями и парками можно украсить, как богатой рамой среднюю жи-

вопись, любой самый непривлекательный город. В словах хитрого зодчего много правды. Скажу о себе — в Кемерове мне впервые довелось побывать случайно: выпало по жребию ехать сюда на студенческую практику, но случайность оказалась из счастливых, го-

род понравился настолько, что захотелось приехать сюда жить и работать. И если вспомнить сейчас, что же привлекло, то именно скверы, аллен. Сквер у «Орбиты», тенистая Весенняя.

Озеленение. За него, казалось бы, агитировать кемеровчан не надо. Для нас это красота еще и функциональна — без «зеленых легких» город наш попросту задохнется: не случайно экологические просчеты наших предшественников были даже предметом обсуждения в Политбюро ЦК КПСС.

Мы стали грамотными и знаем, что один гектар леса в состоянии снабдить кислородом тридцать человек, что обычный газон задерживает пыли в шесть раз больше, чем земля, не покрытая травой. Знаем, но тем не менее...

Вспоминается публикация в газете «Кузбасс» за четвертое октября 1983 года — подборка материалов под общим заголовком «Будет ли город-сад?» Речь шла о Кемерове, и тон был самый озабоченный. Разумеется, были и официальные ответы — как им не быть, раз газета выступила, но вот что любопытно — каждая из затронутых в подборке организаций (архитектурно-планировочное управление горисполкома, цветоводческий совхоз, горно, управление благоустройства), не пытаясь подвергнуть сомнению главный вывод газеты — в Кемерове с озеленением не все благополучно, — посчитала своим долгом заявить, что вина в этом кого угодно, только не ее.

И на самом деле — как не проникнуться уважением к коллективу РСУ «Зеленстрой», если сообщается, что управлением за один только 1983 год высажено в Кемерове 37 тысяч саженцев и приживаемость (да простит читатель за такое слово) составила 98,2 процента. Это только представить себе — почти сорок тысяч деревьев ежегодно и только силами одного-единственного управления, а ведь озеленением еще занимаются на различных субботниках добровольцы, ведут эту работу жилищно-коммунальные организации. Одни школьники, если судить по ответу горно, за тот же 1983 год «посадили 15477 единиц кустарника и 18579 деревьев». Причем, все это

высаженное в грунт богатство сами же школьники и оберегают от различных неприятностей — ни много, ни мало, а более сорока четырех тысяч юных любителей природы пекутся, согласно приказу горно, о благополучии зеленого друга. Собственно говоря — у каждого высаженного школьником дерева можно поставить для ухода и охраны от злоумышленников тройку школьников же. Захотеть, так и круглосуточное дежурство организовать можно, пылика на деревце не упадет....

Сажает в городе деревья и студенты и пенсионеры. Дух захватывает, сколь безграничны наши возможности. И с посадочным материалом, как уверяют руководители цветоводческого совхоза, проблем нет. Из их официального ответа видим, что в 1982 году совхозу было выделено 266 га пашни, на которых растут до положенного возраста ель, сосна, ясень, рябина, вяз обыкновенный и перистовистый, спирея, сирень, яблоня, клен, жимолость. Все это предназначено для улиц и скверов Кемерова.

Все бы хорошо, но вот ответ, подписанный бывшим тогда главным архитектором города В. Д. Полтавцевым. Цитируем. «Вузовский городок неухожен, там неуютно, пустынно. Необходимо превратить его в цветущий зеленый массив... Коллектив педагогического училища посадил аллею выпускников по улице Волгоградской, хорошо зная, что там через год пройдет теплотрасса. Работники производственного объединения Химволокно засадили инженерные сети на углу проспекта Химиков и улицы Терешковой. Эти деревья придется убирать... Ежегодно добрая половина посаженного и оставленного без ухода гибнет. Весенние посадки 1983 года в заискитимской части города погибли на 60—80 процентов...»

Строка из ответа главного агронома цветоводческого совхоза: «Для того чтобы вырастить саженец дерева, нужно около семи лет, и очень больно, что работа по озеленению ведется с нарушениями технологии, а позже о саженце забывают совсем, и деревце гибнет».

Жалуются и главный инженер РСУ «Зелен-

строй»: «У нас в городе много посадок, где опилку ведут не специалисты, а кому вздумается — работники городской телефонной сети, горэлектросети, радиотрансляционного городского узла, эксплуатационники высоковольтных линий. После такой «обработки» деревья становятся уродливыми и гибнут... Когда вывозят из города снег, то механизмы въезжают прямо на газоны. Сдирается травяной покров, ломаются деревья...»

Вот так. На зеленого друга, несмотря на то, что его охраняют более сорока тысяч школьников-энтузиастов, падают не только пылинки. Самое печальное заключается в том, что у кемеровчанина отсутствует культура отношения к зеленому другу. Рука, взявшая топор, не дрогнет. Если строителям покажется, что кран им будет удобно поставить там, где растут раскидистые тополя, они срубят деревья, не станут из-за такой малости причинять неудобства себе, прилаживаться на свободном месте. Не редкость и такая картина: посреди двора, славящегося зеленью, стали вдруг вести то ли тепло-, то ли газо-, то ли водосеть. Пришли люди, выдрали живьем деревья, без спешки в течение года-двух уложили трубы, забросали их кое-как землей и убрались восвояси. Был двор — картинка, стало грязь по колено. Если кому-то понадобится выкопать личный погреб, а для этого нужно срубить дерево, оно будет срублено — в Ленинском районе подобное творится в массовом масштабе. Да что одно дерево — десятки, сотни их падают ежегодно в нашем городе. Все зависит от замаха.

В связи с этим вспоминается одна кампания, которую провели, дай бог памяти, лет десять назад. Кампания за чистоту в центре Кемерова. Это не оговорка — именно в центре. Собственно говоря, агитировали за всеобщую чистоту, но за центр боролись яростно и упорно. Очень мусорно было, помнится, на площади между универсамом и стадионом. Порядок начали наводить массированно. По телевидению показывали современных недорослей, бросивших на асфальт бумажку от мороженого, заставляли их бумажку эту поднимать на глазах всего честного кузбасского телезрителя и все под ехидное горчич-

никовское «аяй, яй, яй...» Чистоту пропагандировали радио, газеты, но самое главное — площадь эта стала регулярно и очень тщательно подметаться. И сработало же — теперь на ней никак не меньше народу, но ведь чище и значительно чище. Не каждый бросит на хорошо убранный асфальт ту же бумажку от мороженого, тогда как ничего не стоит куче мусора добавить толику, другую. Так же и с деревьями — их порой приносят в жертву личному погребу по той еще причине, что большеобъемные «лесозаготовительные» работы постоянно, но особенно активно летом, ведутся практически в любом уголке города. К большой куче с легким сердцем добавляется малая толика, которая делает нас с вами, всех без исключения, значительно беднее. И кто знает, какая из этих толик окажется той самой последней каплей.

Деревья в Кемерове валят постоянно. Изменился наряд проспекта Советского и улицы Островского, вырублены скверы у Дома кино «Москва» и у 62-й школы, оголились улицы Красная и Арочная, реконструируется Весенняя. Пока опустим рассуждения о целесообразности этих работ — об этом ниже, — поговорим только о судьбе зеленого убранства Кемерова.

Например об этом — стоило ли заменять тополя на липы, и вообще — почему подобная замена проводится? Доводилось слышать такой аргумент — липа красивее тополя. Неубедительно. Итальянская сосна пиния еще красивее, но ведь не приживается она у нас. Так что на вопрос, что сажать преимущественно в Кемерове — тополь или липу — доказательно ответит тот, кто будет опираться в ответе не на эмоции, а на твердые положения, лучше всего на научные изыскания, которые точно указали бы — в этой зоне города предпочтительнее посадить это дерево, а в той зоне можно и вот это, покапризнее, но и по красивее. К сожалению, наблюдения над многолетней практикой озеленения областного центра убеждают — ситуация такова: если у человека, который липы любит больше, чем тополя, есть возможность принимать решения, то на улицах города будут расти липы, если же решение будет принимать счита-

тель тополя, то победит это дерево. Оказывается, дело совершенно не в том, что одно дерево красивее другого, и не в том, что с одного летом летит пух, а другое цветет весьма полезным для здоровья человека цветом. Вкусовщина вредит везде, где бы она ни проявлялась, в том числе и в озеленении.

Кемерово соревнуется с Донецком. Понятно, что города наши находятся в разных климатических зонах, и, видимо, этим успокаивали себя люди, уполномоченные принимать решения и которые своими глазами видели цветущий центр Донбасса. По благоустройству Донецк признан лучшим среди промышленных городов мира, и большой серебряной медалью ООН «За охрану окружающей среды» был награжден никто иной, а коллектив Ботанического сада Академии наук УССР. Медаль тем более почетна, что жители не просто сохранили окружающую среду, но и попросту создали ее — ничего подобного тому, что растет, цветет, благоухает в Донецке, нет в природе, окружающей город, в Донецке природа рукотворная. Создавалась она не как придется, не было такого, чтобы вышли люди на улицы и стали сажать, что под руку подвернется, лишь бы числом побольше. Вся работа по озеленению и благоустройству Донецка строится с оглядкой на конкретные рекомендации ученых-практиков. Нетрудно догадаться, что они именно из того самого Ботанического сада.

В Донецке на базе Ботанического создано конструкторское бюро, которое разрабатывает проекты озеленения и осуществляет авторский контроль за их исполнением. Ни одно предприятие или учреждение города не имеет права вести работы по озеленению, пока не будет выполнен заказанный в бюро на основе хоздоговора проект. Это в Донецке, где земля и солнце такие, что, как говорил Чехов, воткни оглоблю и вырастет тарантас. На каком же серьезном уровне надо вести эту работу в Сибири?

Кемерово вполне мог бы озеленяться по такой же схеме — наука плюс практика. Оказывается, уже несколько лет назад коллективом кафедры ботаники нашего университета была разработана система биологической за-

щиты Кемерово. Если говорить по-простому, то были даны ответы на главные вопросы — где и какие зеленые массивы требуют ремонта, какие породы деревьев рекомендованы. Там, кстати, и сказано, что липа на самом деле не про нас, ей самое место в таком городе, как Алма-Ата, а голубые ели, что появились и зачали на улице Островского, предпочитают расти и вовсе в чистейшем воздухе, каким могут похвалиться курортные города. Нам нужен карагач, позарез нужен тополь. Да, тополь крадет раскидистой кроной солнечный свет у жителей ближних домов, да, он донимает пухом. Но, оказывается, есть ивантеевский тополь, у которого, при большей общей площади листа, крона не столь размашиста, как у осокоря, и который не пушит. Да и пух достоин реабилитации. Он — идеальный природный фильтр и очищает загазованный и запыленный воздух не хуже дорогого и громоздкого кондиционера. Разумеется, это малое утешение тем, кто страдает аллергией, но ведь не уничтожаем же мы пасаки потому только, что пчелы больно жалят. Тем более — наукой доказано, что тополь по сравнению с другими деревьями в смысле аллергии менее опасен.

Разработки университета практического воплощения не получили. В 1983 году главный архитектор Кемерово В. Д. Полтавцев сообщал в редакцию «Кузбасса», что в управлении по делам строительства и архитектуры горисполкома составлена схема озеленения города. В первой декаде июня 1985 года автору этих строк довелось видеть такую схему. Обсуждалась и утверждалась она специалистами — когда бы вы думали? — за два дня до визита журналиста. А где же та, что составлялась два года назад? Перефразируя Омара Хайяма, можно спросить: «Вы плохо ее сделали, так кто тому виною, а если хорошо, другая нам зачем?».

При составлении новой схемы принимались во внимание разработки ученых. Однако не те, не университетские, а тоже новые, выданные СКБ «Природа» Кузбасского политехнического института. Университетские, дескать, были слишком далеки от практики. Снова, теперь уже политехники, уверяют, что

составлены карты зеленых массивов, что теперь-то уже совершенно точно известно, где и какое дерево надо оставить, а какое — заменить. Хорошо, если все так и есть и рациональное зерно найдено, но, даже рискуя обидеть кого-то, спрошу: «А не собирался ли тут просто материал для еще одной диссертации?» Сначала «остепенились» специалисты с кафедры ботаники. Теперь пришла очередь политехников. Пусть пишутся научные труды — хоть десяток, хоть сотня, пусть люди получают за них ученые степени и звания, но пусть они принесут пользу не только их авторам. На это кемеровчане вправе рассчитывать.

Сolidное научное обоснование, будем считать, имеется, но вот беда — главный архитектор города не смог ответить на два очень простых вопроса: сколько зелени приходится на каждого кемеровчанина и кто хозяин зеленых насаждений города? На первый вопрос все организации дают разные ответы — кому какой выгоден. Усреднив данные, можно получить цифру — около десяти квадрат-

ных метров. Это бы соответствовало санитарным нормам, если бы не «но». Во-первых, город наш нуждается в особом зеленом наряде, во-вторых, ведь было и так: срубили одно большое дерево, а посадили два прутика. Отчетная площадь зелени возросла, а фактически — снизилась. В расчет попал, конечно, и сосновый бор, который для жителей Южного и Предзаводского поселков практически значения не имеет и в существовании которого нашей заслуги нет.

И второй вопрос пока без ответа. А вот в Донецке этот ларчик открывать умеют. У нас же еще и потому легко берут в руки топор, что дерево в Кемерове бесхозно.

В. Д. Полтавцев охарактеризовал состояние озеленения Кемерова как удовлетворительное и сам же пояснил: «Не в том смысле, что удовлетворяет, а в смысле — на трещку».

Все верно, и «пятерку» мы, кемеровчане, можем поставить только тогда, если возьмемся за свой город сообща. И не только за его озеленение.

Из малых звеньев

Мы часто, особенно когда нам это выгодно, ссылаемся на опыт предков. Старики, мол, знали, что делали. И правильно ссылаемся, предки наши многое, особенно что касается дружбы с природой, умели лучше нас, вооруженных экологическими знаниями и всевозможной техникой. И вот же ведь что любопытно — они и понятия не имели, что природа это и не природа вовсе, а окружающая среда, что ее беречь надо. Предок наш брал из природы, сколько мог, и ухитрялся не нарушать при этом гармонию. Сегодня мы сами себе напоминаем сороконожек, которые поумнели настолько, что научились считать собственные ноги, а потому и разучились ходить.

Однако это к слову. Продолжим об опыте предков. Он нам нужен, но ведь и не надо забывать почему и в каких условиях поя-

вился этот опыт. Эта мысль приходит на ум всегда, когда проезжаю через центральную усадьбу совхоза «Чусовитинский». Прекрасные дома, современные коттеджи стоят вплотную к трассе Кемерово—Новокузнецк, окнами на асфальт. Как же шумно, пыльно и неуютно жителям этих домов! Пытаюсь объяснить, почему так построили. Нахожу одну из причин в тщеславии руководителя, который не утерпел показать лицом свою разворотливость (вот какие дома отгрохал!). Оправдать при необходимости подобную планировку можно все той же ссылкой на опыт предков. И те, как известно, ставили дома окнами на большак. У предков, однако, жизнь другая была. Почему они вдоль тракта строились? Ну, во-первых, конечно, тоже достаток свой показать хотели — смотри, проезжий, завидуй. Во-вторых, какое-ника-

кое, а развлечение: смотришь, раз в неделю цыгане проедут, пару раз за день тройка проскачет, без телевизора-то и это в радость. МАЗ или там КАМАЗ, конечно, не гудит денно и ночью, иначе бы предок постарался подальше убраться.

О центральной усадьбе «Чусовитинского» вспоминаю всегда, когда приходится проходить или проезжать по Кузнецкому проспекту. Людям, которые живут в домах, что стоят вдоль него, ночью, пожалуй, кажется, что машины едут чуть ли не по их головам. В данном случае на опыт предшественников не сошлешься, в данном случае говорят о прошлой чьей-то безалаберности, которую теперь надо поправлять. Ее и поправляют, безалаберность. Проезжую часть Кузнецкого сдвигают в сторону (правда, при этом опять падают большие деревья), в жилых домах станет хоть немного тише.

Работа на Кузнецком предстоит большая, не зря он простоял разрытый все прошлое лето, но ведь в адрес людей, делающих доброе дело, прозвучало и не мало запальчивых слов — не особо стеснялись в выражениях водители, которым приходилось по рытинам вести свои машины в объезд. Как ни странно, но мало кто знал, что именно делают на Кузнецком и почему. Хотя — чего же тут странного? В городе нашем, к сожалению, вообще не принято такие вопросы, как реконструкция главнейших улиц, выносить на общее обсуждение.

Доводилось слышать мнение, что улица Николая Островского сейчас несравненно красивее, чем была она раньше. Вполне возможно, но не следует забывать и чрезвычайно важной для нашего города детали — улица эта опять же потеряла площадь «зеленых легких». Можно согласиться с тем, что улица Островского стала просторнее, столличнее даже, но вот ведь что любопытно: раньше по ней неспешно гуляли, под сенью больших деревьев сидели мамы с детьми, влюбленные. Теперь же — промчится машина на всех парах, да пройдут скорым шагом люди. Им-позантня улица, ничего не скажешь, но ведь никто не сидит теперь на скамеечках, что установлены на симпатичных, но открытых

всем ветрам и взглядам газонах. Может, это не совсем та красота, если она никого к себе не влечет?

Однажды утром кемеровчане увидели оголившуюся, а если быть точнее, то надо сказать так — растерзанную Весеннюю. Это было настолько неожиданно, что походило на стихийное бедствие. Посыпались вопросы. И вновь были помянуты предшественники. Улицу эту, оказывается, не снабдили ливневой канализацией, и в подвалах домов постоянно стояла вода. Соорудить канализацию и не тронуть деревья не представлялось возможным. Тем более, что их и надо было тронуть, деревья эти — они стали старыми — подгнили так, что могли рухнуть в любое время, а это опасно. Потом — большие деревья совсем затмили солнце, и люди на Весенней сидели днем с включенной электролампочкой. Короче говоря, была самая настоятельная необходимость провести реконструкцию улицы. Ну и когда узнали об этом горожане? Только когда на Весенней был уже проведен «лесоповал» и когда посыпались во все инстанции возмущенные письма. Люди, задумавшие полезное, вынуждены были оправдываться, а такого бы не случилось, будь проект реконструкции показан по телевидению, всенародно обсужден. Каждый житель города считал бы себя соавтором проекта и не искал бы виновных где-то «там». Почему не было общегородского совета по столь важному вопросу? Опасались, что горожане не поддержат, что аргументы в пользу реконструкции слабые, но тут-то как раз и добавить бы новые идеи. А может и так: нечего было обсуждать? Не было его, того самого, хорошо продуманного проекта реконструкции, и к делу приступили, надеясь, что сама работа, ее важность, заставит домыслить и сделать все, как говорится, в рабочем порядке.

Судьба Весенней решалась, конечно, не единолично, и никто не ставит под сомнение суть решений подобного уровня, но ведь на деле все стало выглядеть так, словно один член семьи начал тайком от других менять обстановку в доме. Кемеровчане, к сожалению, помнят далеко не единичные примеры,

когда хорошее начинание имело далеко не лучшее исполнение. Специально приносить городу вред рука, разумеется, ни у кого не поднимется, но вред можно принести и по неумению, и по воле обстоятельств.

Давайте примем как данность то, что Весеннюю следовало реконструировать, но кто скажет, зачем работы надо было начинать столь спешно, причем в зиму? Зачем было одному из руководителей горисполкома заявлять на весь Кузбасс, что любимая улица кемеровчан станет просто красавицей к празднованию сорокалетия Победы?

К Дню Победы Весеннюю не сделали, колонны, направляющиеся к памятнику кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, потекли по улице Николая Островского. Почему горисполком не выполнил своего обещания? Ввиду объективных причин — затяжная осень, не оказалось камня для бордюров. Конечно, раз начали реконструкцию центральной улицы, то укладывать надо не абы какой камень, а самый лучший, но, может, им следовало запастись, прежде чем валить деревья? Из своего дома ведь никто не выбросит старую кровать, пока не купит новую.

Ну а то, что зимой на Весенней работы вести будет невозможно, понимали, надо полагать, все. Так почему было позволено лишать жителей города в течение долгих зимних месяцев любимого места отдыха, прогулок, зачем было заставлять их постигать премудрости альпинизма? Почему мы так легко идем на причинение другим неудобств?

В Заводском районе Кемерова, по улице Сакко, прямо перед окнами личных, очень неплохих по внешнему виду домов повели какую-то эстакаду. Вбили стройный часток кол мощных бетонных свай, потащили трубы. Надо ли объяснять, какие неудобства доставит людям с улицы Сакко эта новостройка? А нельзя ли было эстакаду повести за домами или вообще в другом месте? А спросил ли кто у жителей улицы Сакко, хотя бы они всю оставшуюся жизнь наблюдать из окон бетонные столбы? Вряд ли. Ничего особенного, по мнению человека, принявшего решение, на Сакко не произошло. С во-

доснабжением там не станет хуже, реальная заработная плата ее жителей не понизится, вот только неудобств добавится. А почему, собственно, это считается нормальным? Почему выгода инженерного решения вытекла из невыгоды жителей с Сакко? Провозглашенное социализмом отношение к человеку отвергает подобные «выгоды».

Все, что делается с нашим городом, должно быть известно всем горожанам. Очень нам не хватает общегородского совета. Не случайно эта глава началась фразой об опыте стариков и замечанием, что опыт этот мы поминаем, когда нам это выгодно. Сдается, что улицы нашего города потому еще с такой легкостью перекраиваются, что в Кемерове вроде и нет особой старины. Старина и старость — далеко не одно и то же. Вот если бы на улице Николая Островского, скажем, жил в детстве какой-нибудь знаменитый на весь мир человек, да еще бы он посадил в свое время пару, тройку тех, спиленных сейчас, тополей, вот тогда бы никому и в голову не пришло делать эту улицу красивее. А мы с вами? А наше детство, что, не уникально? Ведь и мы хотим, чтобы наш город хранил память о нас, чтобы все еще стояли деревья, которые мы видели не такими и большими.

Дороги нам улицы, на которых мы росли, и дома, в которых мы учились ходить, и если дома, улицы эти меняются, то мы хотим точно знать, что меняются к лучшему и что иначе просто нельзя. У дома номер пять по Весенней появилось не так давно над входом, которым пользуются работники таких организаций, как производственное объединение Кемерово-плодоовощхоз, объединение Кемероворыба, производственное объединение мясной промышленности, управление пищевой промышленности, совершенно нелепое сооружение — мраморный козырек над входом. Доводилось слышать, что под козырьком этим весьма удобно ожидать ведомственный транспорт. Возможно, так, но что делать с тем, что неплохой дом, по сути, обезображен? Выше не случайно перечислены организации — хозяева мраморного козырька. Понятно, что у их руководителей достало

связей, сил «выбить» и мрамор, и разрешение на строительство. А спросил ли кто жителей дома, хотят ли они подобное «укращение», которое теперь, когда Весенняя стала просматриваться насквозь, выглядит не просто нелепо, но прямо-таки устрашающе? Никто, разумеется, и не подумал спрашивать. А как тогда прививать патриотизм, ведь он начинается с любви к своему дому, к своему двору? Ведь подобное было бы немислимо, будь этот дом расположен на старой улице Москвы или Ленинграда. Предвижу возражения: «Так там другое совсем дело».

Да, наш Кемерово молод, но ведь ему быть на земле и сто лет, и пятьсот. Кто сейчас возьмет на себя смелость сказать: что именно наши потомки будут почитать из того, что мы видим сегодня, что именно станет не просто старым, но и благородной стариной? У каждого города своя память, и живущим сегодня следует позаботиться, чтобы она была доброй о нас в грядущем.

Человек так устроен, что ищет необычное в обычном. В пойме реки Искитимки есть яблоня с фиолетовыми цветами. Как южанин могу заверить — ничего особенного, яблоня как яблоня, но в Кемерове она, возможно, одна такая. Яблоню эту показывают, ею гордятся. Хотя — небольшое уточнение: показывали. Срубили яблоню в рамках благоустройства поймы Искитимки. Берега маленькой нашей речки скоро станут ухоженными, там будет и детский парк, и автодром, вот только яблоня с фиолетовыми цветами не будет.

Человек, кроме всего прочего, еще устроен так, что его надо уверить в уникальности того, чем он владеет постоянно. Западногерманский журналист Фридрих Хитцер, человек, который видел и Венецию, и Париж, и много чего еще, пришел в восторг... от чего бы вы думали? — от нашего памятника Александру Сергеевичу Пушкину! Именно так. Было это, правда, еще тогда, когда памятник стоял в окружении деревьев. Опять кому-то деревья не понравились, их срубили, и Пушкин сразу стал маленьким, незащищенным. Все это увидели и даже стали стесняться одной из самых больших достоприме-

чательностей города. Пушкин — поэт, а поэту не нужен большой памятник. К поэту следует приходить в минуты душевного смутения и большого подъема. С поэтом надо оставаться один на один, быть с ним одного роста, чтобы хватило духу посоветоваться. К тому Пушкину, что был у нас раньше, приходили именно так.

Ох, уж эти памятники, монументы, скульптурные группы, что стоят в нашем городе! Мы, горожане, и не гадаываемся, где, когда и какое подобное сооружение возникнет.

В столице Киргизии, прежде чем увековечить память М. В. Фрунзе, в течение трех лет обсуждали проект монумента. Макеты были выставлены в краеведческом музее, фотографии публиковались в газетах. Не благодаря ли такой политике воспитан во Фрунзе такой скульптор, как лауреат Ленинской премии Т. Садыков? Кемеровчане в подобных обсуждениях участия не принимали никогда. Они просто время от времени с удивлением обнаруживают перемены. То на площади стадиона возник вдруг памятник, то появилась на набережной медная женщина, призванная, судя по всему, символизировать реку Томь. Полетели в сквере нового цирка, где печально и обреченно стоят обезглавленные фламинго, совсем уже непонятные птицы — то ли журавли, то ли лебеди, то ли уж даже и гуси. Непонятно откуда возникают многотонные металлические конструкции, призывающие... экономить металл, а также плохо нарисованные, зато огромные портреты по центру главной улицы города. Многие кемеровчане, уверен, только из этих строк узнают, что у школы № 1 уже давно стоит новый памятник Сергею Орджоникидзе. Когда его установили? Этого не знает даже автор скульптуры Александр Хмелевской.

Недостаток информации порождает слухи и домыслы. Приходили в редакцию «Кузбасса» письма, авторы которых спрашивали: правда, что будет убираться газон по центру Советского проспекта, правда ли, что будут уничтожены тополя на Орджоникидзе. Ответить на эти вопросы трудно. Сегодня, вероятно, что и неправда, а завтра?.. Такое впечатление, что наверняка этого не знает никто.

А жаль, очень жаль, если исчезнет аллея по Орджоникидзе. Она одна из немногих, что украшает по-настоящему наш город. Большие деревья, сливаясь кронами, создают неповторимую арочную зеленую архитектуру, и благодаря тому, что сама улица достаточно широка, свет эти тополя никому не застыят. Кстати, люди, что сидели когда-то на скамеечках по улице Островского, отдыхают теперь на Орджоникидзе. Так что — прогнать их и оттуда? Как бы хотелось защитить эту аллею!

Волевые решения чреваты ошибкой. Сейчас ясно, что памятник у стадиона плох, но как поправить? Просто так не уберешь. Одно дело, когда его вообще не было и можно было принимать какие угодно предложения, а совсем другое — вчера был памятник, а сегодня его уже нет. Подобный, не самый лучший опыт, имеется уже у руководителей молодого Ленинского района.

Мы обязаны хранить добрую память города, которой противопоказаны показуха и сиюминутность. В бору, в предполагаемом парке Победы, десять лет назад был проведен митинг. Даже Новосибирская кинохрони-

ка в журнале «Сибирь на экране» показала, как был заложен камень с памятным текстом и как сажали ветераны и школьники новые деревья. Потом все это несколько подзабылось. Можно подумать, что саженцы расположили не там, где бы им было привольнее, а там, где они оказались «киногеничнее»; все они в тот же год погибли. Камень, правда, стоит — его поливать не надо.

Еще раньше состоялся совсем уж многочисленный митинг: комсомольцы города закладывали в основание памятника Героям Гражданской войны (у старой филармонии) капсулу с письмом для молодежи будущего. Митинг прошел, инициаторы этого дела передвинулись на другие работы и о капсуле забыли. Памятник давно реконструирован, и при работах никакого письма обнаружено не было, оно утерялось. Да никто, собственно, и не искал. Неугомонные ветераны потолкались было с этим вопросом, да так все и осталось. Выпало еще одно звено памяти нашего города.

А их очень жаль, этих звеньев, которые столько уж лет никак не образуют прочную цепь.

Зоя Естамонова

ТРАДИЦИЯ—В НАС

Выставка «Сибирь социалистическая». Итоги. Раздумья

I

Залитый солнцем павильон спортивного манежа, цветные стяги на ветру, окрыленное движение встречающей вас у входа скульптурной женской фигуры «Земля Кузнецкая»...

6-я зональная художественная выставка — теперь событие прошлого, достояние истории культуры, а многих память возвращает в теплые дни 1985 года, где — если сумеет вернуться туда — все еще остались празднично нарядные залы, заполненные произведениями. И художник сверяет с ушедшей выставкой свои сегодняшние замыслы. А зритель? Наверное, не один из 53 тысяч посетителей думал о том, что в следующий раз честь встречать выставку изобразительного искусства Сибири выпадет нашему городу лишь в третьем десятилетии 21 века.

II

Да будет память о выставке добрым напутствием ее художникам и зрителям, тем более, что и сама выставка, проходившая под девизом «Сибирь социалистическая», на этот раз особенно настойчиво заявляла тему памяти в произведениях разных видов и жанров.

У входа встречали тревожные возгласы посвященного 40-летию Победы плаката. Шаг влево — темные на бронзовом закатном небе набатные колокола в полотне красноярца Ю. Деева «Реквием. 1941». Напрасно замедляешь шаги у красного обелиска, окруженного золотом пшеничного поля (В. Смагин. «Память». Иркутск), и далее триптих А. Алексеева «Родители», а если напрямую пройти

зал, попадаешь в уголок фронтового рисунка. В близком соседстве — портреты декабристов А. Муравьева, страницы истории Кузнецкой земли в графике и живописи земляков, ленинская тема А. Знака и Ю. Лобузна и холсты алтайского живописца Г. Борунова, воскрешающие дни коллективизации на селе. И, пройдя выставку, хорошо понимаешь: не могло быть иным ее лицо в небывало напряженные дни угрозы существованию мира, дни переоценки ценностей в общечеловеческом масштабе.

Из немногих полюбившихся произведений, к которым не раз возвращаемся, чтобы понять их секрет воздействия, вспоминается небольшой рисунок П. Чернова «Спящий солдат, 1945». Немолодое лицо с закрытыми глазами, кажется, передает сквозь годы ток напряжения, не снимаемого даже в минуты отдыха, в нем, этом лице, тяжкий груз пережитого, смертельная усталость. Это лицо можно представить себе и в антивоенном плакате, и в бронзе монумента, но, пожалуй, сильнее оно берет за душу именно в этом полустершемся наброске. И тихое слово художника здесь не уступит громкой публицистике. А образ-то, вот удивительно, найден самый простой.

На 4-й зональной выставке «Сибирь социалистическая» (Томск, 1975 год) в произведениях живописи и графики намечались два потока художнического мироощущения. С одной стороны — документальное начало, репортажная свежесть впечатлений как результат выездной работы творческих объединений «Индустрия Сибири», «Нефть Сибири», «Хлеб Сибири», «Энергетика Сибири». Это были се-

рии листов и холсты-импровизации, привезенные с БАМа, предприятий-гигантов и совхозов, групповые портреты геологов, металлургов, строителей. Другой линией выставки была камерная лирика кистью или карандашом, работы, рассчитанные на близкую дистанцию восприятия, на доверительную интонацию общения.

Возможно, нынешняя зональная, в которой молодые 1975-го обрели зрелость, а художники зрелого возраста вступили в ряды ветеранов искусства, уже дает возможность видеть начало желанного соединения двух вышеупомянутых направлений, синтеза, в котором интимное обретает черты социально значимого, личное и гражданское родственно созвучны: «улица — моя, дома — мои».

На нынешней научной конференции в прессе и на телевидении ведущие критики и искусствоведы осуждали резко, как профессиональный порок, подмену содержания сюжетной декларацией. Часто и зритель не прощал авторам внешнего лоска, штампа и высокопарности.

«Если художники будут нас рисовать, пусть не изображают какими-нибудь атлантами и гигантами, пусть рисуют такими, какие мы есть», — говорил один из молодых шахтеров.

В зале выставки однажды удивлялся человек пожилого возраста: «В некоторых картинах люди как будто не связаны между собой, каждый сам по себе...»

Потому и ведутся между профессионалами искусствознания нескончаемые дискуссии о картине, что в последнее время этот серьезный жанр не слишком радует удачами.

Нынешняя выставка — в некотором роде исключение, и пищу для раздумья во многом дают успехи и просчеты наших земляков.

Выступает с полотном гражданского содержания «Лихолетье войны» А. Грошев, не считавшийся картинщиком. Зато не увидели мы на выставке ни единой работы А. Макеева, который, едва окончив училище, так удачно выступил с картиной на томской зональной. Кризис? Неудача? Пятилетний промежуток между большими выставками — основательное время для работы, подкрепленной внутренней подготовкой.

Часто есть у художника и способности, и школа, не хватает, говорят искусствоведы, «профессионального мышления». Скажем, выбирает художник крупный момент истории, сочиняет весьма оригинальное решение, и работа остается полуфабрикатом, а коллега берет и тему не новую, и композицию строит простейшую, а успех налицо.

Тщательно изучал Ю. Лобузов историю Кузнецкстроя, но дело, наверное, не только в этом. «Я хотел не время реставрировать, а создать поэтический образ, легенду о Кузнецкстрое, — рассказывает автор, — у меня нет в картине отдельных героев, все действующие лица — мои герои...»

Стоишь перед этим полотном и чувствуешь, как малы в масштабах созданного ими гиганта фигурки строителей. Но, кажется, слышишь: в ответ победному маршу маленького, как сами люди, оркестра, начинает, оживая, дышать гигантская новорожденная домна...

Чувствует и зритель, и искусствовед, что образ завода для художника — не игра ритмами конструкций, а часть его собственной жизни, родная тема.

К счастью, зональная выставка — школа опыта. У каждого из художников, тем более ветеранов, есть чему поучиться: здесь и подвижничество многолетнего труда в двух больших картинах П. Чернова, и верность избранным идеалам живописцев Г. Борунова, А. Кирчанова, и биение сердца в любом холсте А. Алексеева, и мастерство импровизации И. Филичева, не исключающее долгих раздумий в русле постоянно волнующей художника темы.

Об особых нравственно-этических традициях отечественной картины говорил заведующий отделом советского искусства Государственного Русского музея А. Дмитренко. Кандидат искусствознания П. Муратов на вопрос о традициях Сурикова на родине гениального мастера исторической картины очень точно заметил: не стилистика Сурикова, но дух его романтической героики вдохновляет сегодняшнего сибиряка-живописца. Да, ведь Сибирь в некотором роде — символ молодости нашего государства.

III

«Мне снился Рязузов, — рассказывал один из посетивших выставку. Будто я живу на юге, скучаю по сибирской зиме, а снег вижу почему-то таким, какой он в этом вот пейзаже с двориком Сурикова...»

Приметы Сибири на выставке сибирского искусства обильны. В произведениях — Байкал и КМК, алтайский хлеб и Шушенское, старинное зодчество Томска и Саяно-Шушенская ГЭС, близкая родня древним наскальным изображениям — миниатюры тувинских камнерезов, чабаны и мараловоды в гравюрах А. Ананьина, врачи в групповом портрете Н. Верткова, традиционно-реалистический бронзовый портрет героя труда Е. Дроздецкого и нетрадиционный образ рыцаря-шахтера в скульптуре Р. Корягина, художник А. Вычугжанин в портрете Г. Новиковой, писатель В. Распутин, так естественно живущий в рамках картины А. Алексеева, словно и в самом деле мы подошли к ступеням деревянного дома, где сидит он, задумавшись, рядом с маленькой дочерью.

Позировать Анатолию Ивановичу Алексееву, человеку доброму и деликатному, наверно, несложно, но главное в этом портрете — не внешний облик писателя, а трудно поддающееся постороннему глазу состояние постоянной внутренней сосредоточенности, взгляд в себя.

Благоваришь художника за соучастие в раздумье любимого писателя. Вспоминаешь также, что Валентин Распутин сравнивал звучание слова «Сибирь» с ударом колокола, в котором чувствуется «могучее и предстоящее».

IV

Казалось, характер сегодняшней Сибири, контрастность сочетания величавой природы и активной жизни индустриальных центров вызывает к жизни драматические полотна сосуществования и противоборства природы и урбанистического начала. Но вот парадокс: индустриальные мотивы чаще существуют сами по себе, и подобным же образом предпочитает самостоятельность так называемый чистый пейзаж.

О традиции сибирского пейзажа П. Д. Муратов рассказывает: «Когда в конце 50-х возле Иркутска на Байкале возникла творческая база художников, туда приехали Гаврилов (в пленерном пейзаже звезда первой величины), Загонек, Подляский. Работали бок о бок с местными пейзажистами. Складывалась в Восточной Сибири школа пленерного пейзажа. И зональная выставка показывает, что сибирской живописи и графике вообще свойственна пейзажная тенденция...»

Пейзажистов старой школы зритель уважает. И Рязузов снится, и «кочень много воздуха» в эпических пейзажах К. Белова, по душе спокойная Обь Завьялова, прозрачность красок Н. Бачинина, привлекает жизнерадостный Байкал в пейзажах В. Роголя. Постоят возле сергинского пейзажа с задумчивой, точно навеки застывшей тишиной хакасских степей, но скажут: «темноват пейзаж». Еще реже останавливается наш большой зритель возле пейзажа В. Тетенькина «Байкал стынет». Опять смущают темные краски.

Впрочем, тому, кто раз-другой внимательно взглянет в «темную живопись», однажды открывается и ее душа, и он видит тайну рождения серебристого апреля в черно-изумрудном пейзаже А. Чернышева «Оттепель», любопытство его к необычному щедро награждается самоцветами живописи А. Рубцова («Восьмое марта»). И вспомнит тогда наш зритель-скептик, что и в природе мы любим бархатистые густые тона ночной синевы, таежной хвои, спелой вишни. Зовет нас к себе и светлая духовность пейзажей Левитана и загадочность темных созвучий врубелевских картин.

Пейзаж выставки — лаборатория поиска. Интересно сопоставить рационально-созерцательные композиции А. Шумилкина, его зеркальные, как бы застывшие в металлических отсветах северные мотивы и тревожную поэзию таежной деревни в полотнах В. Зевакина, который от ликующих солнечных нот колорита вдруг переходит к вариациям сдержанной палитры. Сплав поэтического и философского в своих пейзажах сам Зевакин неизменно определяет как позицию простую и прочную: «Пейзаж — это родина».

Масштабность содержания сама по себе не отливается в убедительную форму, но эпос рождается там, где художник не умом, а всем существом ощущает землю как большой человеческий дом, «планету людей». «Художник соединяет в себе прошлое с будущим», — сказал в дни культуры Иркутской области живописец А. Костовский, который так же, как В. Зевакин, верен деревянным домам и таежным сибирским селам. Большие живописцы деревенской темы — параллель писателям-«деревенщикам». И те и другие вносят в свои произведения не внешние приметы жизни российской деревни, а особенную остроту чувства времени, болевую думу о Родине, суть которой писатель Федор Абрамов определил как «нравственный максимализм».

«Не согласен, чтобы этот лес спокойно стоял пятьсот лет. В этом лесу хозяин медведь. Я — за другие пейзажи...» Так говорил герой романа В. Ажаева «Далеко от Москвы» всего 30—40 лет назад, а поколениям, воспитанным прозой В. Распутина, Ф. Абрамова, В. Астафьева, эти слова покажутся по меньшей мере странными.

Историзм мышления определяет степень гражданской зрелости таланта. Когда речь идет о пейзаже, мы вправе ожидать от художника, помимо полнокровного изображения сложной земной красоты, созвучие нашим тревогам за чистоту воздуха и рек, за судьбу обреченного кедра, за незалеченные экологические раны земли.

Создается впечатление, что путь к новому этапу сибирского пейзажа пока пролегает не эстафетой художнических побед, а скорее коллективно зреющими усилиями.

Нынешняя зональная выставка образ природы поднимает много выше традиционного пейзажного жанра в живописи и графике. «Байкальские камушки», «Сибирский пейзаж», «Золотой сад», «Подснежник», «Под яблоней», «Снегири», «Багульник», «Озеро Чаны», «Таежная песня» — это названия произведений декоративно-прикладного искусства.

Юная кемеровчанка Чомова опоясывает предметы чайного сервиза неброскими полевыми травинками. Декоративная керамика новокузнецчанина А. Марфина раскрывает

образ таежных гор и быстротекущих рек Горной Шории.

V

— Мама, это, наверно, картина самого великого художника, — говорила маленькая девочка возле полотна молодого новосибирского живописца Д. Григоровича «У окна». Успех этой работы у многих зрителей необычайный: и краски светлые, и «глазки у детей написаны, как живые».

«Фотореалистов» на выставке немного, но гладкость их письма и, особенно, иллюзорная правдивость деталей — предмет сопоставления с прочей живописью, которая иногда определяется зрителем беспощадным словом «мазня», а кто-то из них, если заглянуть в книгу отзывов, даже собирается побить нерадивых художников палкой, совсем как в конце прошлого века в салонах парижской живописи, где зрители, размахивая зонтиками, налетали на сегодняшних кумиров импрессионизма.

Оценивает время. Но можно понять и психологию зрителя-современника, воспитанного образцами фото, кино, электронно-оптического искусства телевидения.

«Как живое», «гладкие краски» — это привычно для глаза. Портреты Возрождения, доступные в репродукциях любому — это авторитетно, проверено веками. Но думается также, что неискушенный, нечасто бывающий на больших выставках зритель порой попадает в положение получающего вместо натурального продукта суррогат. Ведь далеко не всегда художник предлагает свой искренний поиск. Сколько «имитаторов», сколько расчётливых подделок под моду и вкус публики! Зритель искренен в желании обрести идеал, пусть же он видит трудный путь художнического поиска, с ошибками и заблуждениями, но с честным, открытым сердцем...

VI

Бесспорно близки любому зрителю уголки декоративно-прикладного и монументального искусств, сценография и дизайн, ведь каждый, кто видит эскиз к спектаклю, красивую посуду, панно, гобелен и витраж, понимает,

что это не музейные образцы, а то искусство, которое, как друг, будет жить рядом с нами в доме, общественном здании, на улице и поможет сделать красивым жилье, одежду, предметы обихода.

Скажем сразу: многим заманчивым образцам посуды и керамики суждено, забывая о своем прямом назначении, красоваться на подиумах выставочных залов. Вопрос о сотрудничестве художника с фирмами местного производства так же, как проблема социального заказа, остается на доисторической стадии. Разве мы увидели на этой выставке художественно яркие образцы Прокопьевского фарфорового завода? Где внушающие уважение поиски художников Промышленновского цеха, оправдывающие существование его художественной продукции как развитие традиции, вывезенной в Сибирь мастерами Хохломы?

Фактически не существуют в практике кузбасского архитектурного творчества интерьеры с учетом особенностей художественного оформления.

Почему Кемеровская фабрика сувениров «Весна» поддерживает традицию жостовского промысла? Над росписью подносов работают молодые профессионалы, приехавшие из Средней России.

Искусствоведы увидели «взрыв» декоративно-прикладного искусства на барнаульской зональной. Гобелен впервые появился на выставке «Сибирь социалистическая» в 1975 году. Витраж — в тех образцах, которые мы видели в Кемерове на зональной выставке, — является впервые, и кемеровчане с удовольствием отмечают тот факт, что слайды витражей С. Одинцова — не экспонаты, витражи Одинцова живут в городской среде: в театре, Доме актера, университете, в профилактории «Сосновый бор».

Четыре года существует в нашем городе крепкая база республиканского отделения «Росмонументискусства». «Скульптура разочаровала», — говорили специалисты на научной конференции. Может быть, и станковая скульптура затихла оттого, что скульпторы увлеклись горизонтами монументального творчества?

Однако вопрос о памятнике в наших городах остается одним из самых тревожных. Социальный заказ ограничивает скульптора сроками, заказчик равнодушен к проблемам материала. Безотказно работает над параллельными заказами для города скульптор А. Хмелевской, а воплощать принятые художником эскизы ему приходится, как правило, наспех, с подменой материала, с искажением замысла в архитектурной привязке. Доброе стремление подчас оборачивается и собственным разочарованием: кому как не автору понимать более других, что результат недостойн замысла.

Но, может быть, и сам художник обязан быть сурово принципиальным в вопросах, касающихся профессиональной чести, бескомпромиссным в отношениях с заказчиком? Монумент для города — это ли не ответственность?

Между тем энтузиазм профессионала справляется и с более крепкими проблемами.

В разделе монументального искусства зрители с любопытством рассматривали натюрморт из алтайского камня в технике флорентийской мозаики, но мало кому известна предыстория его рождения.

Мастера Колыванского камнерезного завода в конце 18 века создавали уникальные вазы по рисункам известных архитекторов России. Их руками создана легендарно известная многопудовая ваза из зеленой яшмы, которую то лошадьми, то волоком доставляли затем с Алтая в Петербург. В 70-е годы нашего века забывший о славных традициях камнерезный завод выпускал технические и кое-какие ювелирные изделия. 200 лет в отвалах лежали глыбы камня с метками мастеров 18 века, ожидая, пока прикоснутся к ним руки художников-потомков.

В 1978 году приехали из Ленинграда выпускники-монументалисты Г. Алексеев и О. Алексеева. В центре Барнаула появился первый образец возрожденной вазы. Заиграли краски алтайских яшм, порфиринов, кварцев в созданном для интерьера речного вокзала панно. Наладили молодые энтузиасты и систему централизованных заказов. А глав-

ное — вот истинно исторический факт, — их руки возродили старинную традицию.

К старому, как мир, разговору о традициях выставки сибирской зоны добавляют свой местно-патриотический оттенок: традиция сибирского искусства.

— Традиция Сибири — это пока еще только одна наскальная живопись.

— Искусство интернационально, а традиция — в нас. Разве мы не часть России?

Прислушиваясь к трезвому голосу тех, кто не видит сибирского искусства как такового, подумав, вроде соглашаешься. А выставка, как большая река, несет в себе и впадающие в нее ручьи и реки, и струи бьющих со дна глубинных родников, и подчас так явственно слышны разноречивые голоса питающих реку источников...

Рисунки скифо-сибирского звериного стиля на скалах вдоль «дороги Чингисхана» в Саньянском каньоне Енисея и оленные камни Тувы и Алтая — истоки орнамента алтайских ковров-сырмагов и пластических декоративно-прекрасных и живых шедевров тувинских камнерезов.

Знакомую российскую традицию узнаешь с первого взгляда в ковшах из капа Б. Заложных, но ковши одухотворены птичьими характеристиками сороки, цесарки, курочки-рябы.

Туеса — исконно российская традиция, но случайна ли прописка их в городе сибирского деревянного зодчества Мариинске?

В своих декоративных и сюжетных поисках гобелен часто привязан к сибирской земле как будто только узлами содержания («Химия» и «Уголь» В. Фаломкина, «Омск — город сибирский» С. Князевой и А. Князева, «Бронзовый век» Ж. Желиостовой), но разве не содержательно-духовная сторона — ведущее начало любой традиции? «Традиция в нас». Неплохо сказал скульптор Р. Корягин.

«В Кузбассе намечается очаг скульптуры», — таким было мнение представителя творческой комиссии правления СХ РСФСР в канун 5-й зональной выставки. На этот раз единодушно отмечена искусствоведами слабая позиция скульптуры в сравнении с други-

ми видами искусства. Много однообразия в портретном жанре.

Среди скульптурных работ выделяется почерк наших земляков — энергичная рука Р. Корягина, лирическая поэтика образов А. Хмелевского.

Активно выступили графики. В разнообразии тем и жанров, в необычной широте технических средств. Тончайшие, как иней, штрихи офорта, теплая душа карандашных рисунков, серия монументального характера (В. Долгушин «1941») и емкость миниатюрной книжной иллюстрации, шишкинская традиция в пространственно живых пейзажах Я. Яковлева и обнаженно-современный почерк публицистической серии офортов Г. Курочкиной-Домашенко «Шрамы войны».

Интереснейший поиск графиков в исследовании исторической темы смыкается с руслом выставки, освещающим тему памяти и преемственности поколений.

Перед графиками (их было много на выставке), использовавшими документ не только как источник информации, но и как образно-стилистическое средство, неожиданно возникло серьезное испытание: фронтовой рисунок, максимально соединивший в себе документ и образ. В сравнении с уголком фронтовых рисунков проигрывали самые хитрые из формальных эффектов «документализма». Среди художников, с честью выдержавших испытание, — иркутский график А. Муравьев, новокузнецкий график А. Бобкин.

А. Бобкин, решая тему Кузнецкстроя в листах цветного офорта как взаимосвязанный процесс рождения завода-гиганта и нового коллективистского сознания, вводит в ливень штрихов и волны пульсирующего цвета вместе с образами строителей, их лицами, руками не просто слова документов, не лозунги, а живые, словно услышанные нами через полсотни с лишним лет ликующие слова: «Есть чугун!» «Домна задута!!!».

В композициях к «Слову о полку Игореве» А. Муравьев держит напряжение зрителя решительным взглядом князя Игоря, скорбным раздумьем вещего Бояна, но фон к героям «Слова» — не историческая канва сюже-

та, а скорее породившая их духовная атмосфера древней Руси в мифологических образах-переключках с текстом шедевра древне-русской культуры.

В муравьевских портретах декабристов конкретны лица, и соответственно этому фон портретов решается как время-пространство жизни дворянских революционеров, обосновавшее логику их героизма на Сенатской площади и в сибирской ссылке.

IX

Вспоминая работы Александра Муравьева, я вижу самого художника. Вот он выступает на одной из встреч зонального выставкома. Его волнуют формалистические наклонности молодых сибирских художников: «История революционного движения, освоение Сибири, культурное освоение — свои гигантские темы. Разве может быть самобытным чужое? Оно чахнет, червивеет на глазах!» Вот он в дни искусства Иркутской организации с ребятами пионерского лагеря «Орленок» увлеченно рисует коллективный портрет «Кота в сапогах». В нем, энергичном и общительном, желание нести искусство людям — не профессиональная обязанность, а потребность души.

Художники — какими мы представляем их — знакомы зрителям по автопортретам да выступлениям с телеэкрана. Но каждый раз произведение — портрет самого автора. Разве мало рассказывает о художнице А. Тарнавской душевность картины «Бабушкино крыльцо»? Не говорят ли нам об идеале художника

А. Капорушкина по-детски добрые глаза в портрете «Конюх М. Нуриев»?

Одушевленная шахтерами одежда в полотне Л. Статных «Окончен рабочий день», нарядная керамическая композиция Г. Свистунова с таким обычным сюжетом — городская остановка; великолепное чутье материала в декоративной керамике Н. Королихина, дебют молодого автора картины А. Казанцева — многих из 100 нынешних участников выставки художников-земляков можно назвать среди достойно встретивших праздник искусства.

Перед одним из произведений выставки — цветы. Это незаконченная, но и в состоянии незавершенности необыкновенная по глубине и мастерству работа «Портрет сына» — последнее произведение иркутского живописца А. Вычугжанина. Художник ушел из жизни, но память жива и в его собственном наследии и в учениках. Написавшая портрет-посвящение А. Вычугжанину Г. Новикова рассказывает: «В этом портрете и трагическая судьба художника, и сущность художника. Очень любил он национальное русское искусство... Он делал школу, очень серьезную школу, у него много учеников...»

Мечты о школе сибирского искусства, кажется, имеют под собой реальную почву: в Красноярске, на родине Сурикова, ожидается открытие филиала Академии художеств. Но истинная школа не там, где стены учебного заведения, а там, где учитель. И где традиция не умирает вместе с художником. Сибирское искусство? Да! Только оно еще молодо, оно в пути.

„ВСЕ-ТАКИ ПОЧЕМУ МЫ ТАКИЕ?!“*

Некоторые литераторы искренне убеждены, что создание положительных образов — дело, конечно, благородное, но... весьма неблагоприятное. Очень легко, мол, впасть в схему, выдать желаемое за действительное. Положительные люди — они, дескать, и в жизни какие-то чересчур правильные, скучноватые. Отрицательные — они... живописней, что ли.

Первыми же своими шагами в литературе Владимир Куропатов начисто отвергал подобную точку зрения. Рассказы его были густо населены персонажами положительными — в полном смысле этого слова. Герасим Гаврилович Корсаков — сельский учитель литературы, который за ответы, вызубренные из учебника, ставит «ноль», а по-настоящему оригинальную мысль готов оценить отметкой «шесть» (по «семибалльной системе»); Федор Терентьевич Шеголихин — мастер на все руки, лукавый, мудрый, настоящий деревенский философ («На добрую память»); неуклюжая, простоватая, но такая трогательная в своей любви Дуся («Про Дусю»); и, конечно, Федор Петрович, отец рассказчика, утверждавший, что труд должен быть для нас так же необходим, как молитва — верующим («Имя отчее»).

Владимир Куропатов писал о реальных людях, когда-то глубоко запавших в его душу. Он ничуть не приукрашивал их, но и не окарикировал. И сама собой вытекала «тенденция»: герои Владимира Куропатова своим существованием подсказывали нам: добро — это естественное, нормальное состояние человека. Обжитый, светлый, надежный мир, где светит «зеленый луч» — вестник добра... Казалось, что так счастливо нашедший свое лицо писатель в дальнейших своих произведениях продолжит художественную разработку этого мира. Но все произошло гораздо сложнее.

В произведениях, написанных Владимиром Куропатовым в последние годы, начала подспудно звучать, все усиливаясь, другая, до этого совсем не свойственная ему интонация — интонация тревоги. Именно эта инто-

нация определила настрой двух его новых книг.

Герой рассказа «Ржавые гвозди» плотник Василий Сидоркин, или Сидорка, как попросту кличут его односельчане, ремонтируя ограду, ловит себя на том, что не выбрасывает старые гвозди, а распрямляет их «изъеденные ржой до того, что шляпки иных держатся на тонюсеньких шейках... Пустую, зряшную работу он делает. Вот и вопрос: зачем?»

Перед Сидоркой часто встают разные «зачем это?», «почему то?» Вопросы эти — как патроны в старой отцовской берданке: «и не выстреливает патрон, и не вынимается, будто он там прирос». Вот и называет их Сидорка «берданистыми вопросами».

«Берданистые вопросы» — беда и мука Сидоркина. «И ответа — хоть ты лоб расшиби — не дашь, и не отступают они. К примеру, Митька Сухов и еще какой-то там не поделили вчера пивную кружку. Спорили, спорили, да и давай друг друга тузить, правоту доказывать. Почему? Почему не словами, как началось, а кулаками, болью, будто болью люди думают?»

Пришел Сидорка на покос, и глаза его тут же уперлись в груды металла под старой березой. Это он, Сидорка, собрал разбросанный по полям хлам. Собрал и попросил главного инженера Петра Боброва, своего друга детства, дать машину, чтобы вывезти металлолом.

«— Прямо и не знаю, как тебе помочь.

— Да почему мне-то? Это я тебе полпана сделал, — напомнил Сидорка. — Как говорится, безвозмездно. Дашь транспорт, и погрузить помогу...

— Как-нибудь вывезем, — пообещал Бобров».

Трижды напоминал Сидорка об этом обещании, но металлолом и ныне там. А на днях Василий оказался свидетелем прямо-таки страшной картины: шофер Митька Сухов сыпал ячмень под колеса забуксовавшего грузовика.

«— Мерзавец! Ах ты, мерзавец! — смотрел вослед машине Сидорка. Его колотило... — Вот! — Сидорка поднес пригоршню грязного ячменя к лицу главного инженера.

— А я черт знает что... Думал, чепэ...»

* Владимир Куропатов. Середина жизни. М.: Современник, 1984; Плоть от плоти. Кемерово, 1985.

Но именно как ЧП воспринимает подобные случаи Сидорка. Он пишет заметку в районную газету, а когда заметку долго не публикуют, он отправляется в город сам...

У Константина Науменко, героя, а вернее, антигероя рассказа «Следствие», жизненная философия проста: «Ты — мне, я — тебе». Он искренне презирает братьев своей жены: «Один из них был учителем, другой бухгалтером, и оба с блажью: толкуют про совесть да правду, а у самих по одним штанам...»

И сына Константин растит так, «чтобы со временем узнать в нем самого себя». Когда после окончания десятилетки Валька со своим другом Женкой Моргуновым засобирались в медицинский институт, Константин решительно возразил. И настоял, чтобы Валька пошел на курсы шоферов. Когда тот совершил свой первый «калымный рейс» — привез из райцентра пианино учителю, отец с жадностью спрашивает:

«— Сколько... Петрович... из кармана-то? Не горсть же семечек?..»

— Как?! — Константин был до того ошарашен, что нога соскользнула с педали газа, машина дернулась и заколыхалась. — Серьезно, не взял? Деньги-то?

— Нет, конечно.

— Да ты что? — не верил отец.

— Он же мой учитель, а я буду...

— Дура! — Обозлился Константин. — Бован! Бывший учитель! А теперь — клиент!»

Нелепая и грустная история произошла с механизатором совхоза «Заря» Василием Валовым (рассказ «Односельчане»). Здесь, в этом совхозе, провел он всю жизнь, люди знали его и уважали. Нередко и районная газета о нем писала.

И вдруг — газетная заметка совсем иного рода: «Районными народными контролерами установлено, что механизатор совхоза «Заря» В. Валов прошлым летом похитил на строительстве животноводческого комплекса шифер и покрыл им собственную баню».

Это явная нелепость. Что-то напутали там, в районке. Валов спешит к своим односельчанам в полной уверенности, что любой из них напишет опровержение на эту заметку, подтвердит его, Василия, честность.

Но все происходит, как в страшном сне. Люди, которых Валов считал своими надежными друзьями, становятся какими-то зыбкими, нереальными. Василий хочет опереться на них, но его руки хватают пустоту.

К счастью, все быстро выясняется. Воровал однофамилец Валова из другого совхоза. В районной газете появляется поправка.

«— Ну вот и все ясно стало. А ты переживал. Да иначе и быть не могло! — Правду кривда не заслонит!» — поздравляют Валова односельчане. А он, чувствующий себя усталым и разбитым, лежит на кровати и дума-

ет: «Какие мы все... Но все-таки, почему мы такие, а?»

Тот же самый вопрос — почти слово в слово — задает и уже упоминавшийся Сидорка, и пожилой рабочий Анисимов, которого доводят до инфаркта продавцы, слившиеся для него в один образ Глыбы — «бесчувственной, темной, неотесанной, необоримой» (рассказ «Сюрприз»).

Итак, в сборнике мы видим нового Владимира Куропатова — писателя резкого, тревожащего наши души, задевающего в своих рассказах «болевы точки» современности. Но такого уж нового? Мне кажется, что он совершил нелегкий, но вполне закономерный шаг. Да, конечно, — «блажен незлобивый поэт». Но не зря сказано, что если мир дает трещину, она проходит через сердце настоящего писателя. Владимиру Куропатову делает писательскую и человеческую честь, что он смело стал поднимать наболевшие вопросы. Ведь умалчивать о болезнях — оказывать плохую услугу больному. «Приписки» в литературе поврежденной приписок в экономике.

Советская литература всегда была сильна тем, что не только замечала и пестовала ростки нового, но и первая же сигнализировала об искажении идеалов. Довольно часто писатели в таких случаях прибегают к сатире, гротеску. Прием плодотворный. Единственный его недостаток: действительность порой трансформируется сатириком до такой степени, что у читателей создается впечатление: безобразия происходят в каком-то тридцатом царстве и к нам с вами не имеют никакого отношения.

Владимир Куропатов остается верен складу своего таланта. Действительность он изображает «в формах самой действительности» — объективно. Но это не беспристрастная констатация фактов, ведущая к бескрылому натурализму. Писатель старается проникнуть за оболочку явлений, «высветить» то, что кажется малозначащим, второстепенным, а на деле играет немаловажную роль. Он ведет художественный анализ современности, и оттого, что анализ этот основан на истинном положении дел, он обретает силу неотразимой убедительности.

Пустячный вроде бы факт — прямление ржавых гвоздей — под внимательным оком писателя приобретает глубокий смысл. Он вырастает до размеров тревожного символа. От ржавых гвоздей перебрасывается ассоциативный мостик к душам, подернутым ржавчиной.

— Почему? Почему? Почему? — не устает вопрошать писатель. — Почему мы становимся такими?

Правильно поставить вопрос — это уже,

значит, наполовину ответить на него. Но Владимир Куропатов не удовлетворяется этим. Он пытается разрешить хотя бы некоторые из «берданистых вопросов».

И вот он, его главный вывод: с моральной ржавчиной можно бороться только путем абсолютной правды. Недаром народная мудрость отождествляет ложь со ржью. Полуправда — та же ложь, только принаряжена в более привлекательные одежды.

Некоторые люди — писатель правдиво рисует их портреты — убеждены в обратном. Такова сотрудница районной газеты Тарышкина, к которой приходит наш правдоискатель Сидорка. Выслушав его, она говорит:

«— Очень ужасные факты вы приводите.

— Правильно. Но уж такие случились.

— Какое, думаете, впечатление создается у читателя? А такое, будто у нас везде под колеса подсыпает вместо гальки зерно, будто наши леса завалены металлоломом. Что о нас, о нашем районе то есть, подумают?..»

Как знакома каждому из нас эта прикрывающаяся благими намерениями, но лицемерная в своем существе фраза: «А что подумают другие?».

Поэтому снова и снова Куропатов затрагивает тему правдивого печатного слова. Сам опытный газетчик, он прекрасно знает, каким сильным оружием правды оно может быть и сколько вреда способно принести в руках человека со ржавой душой. Вот и к злоключениям Василия Валова самым прямым образом причастна районная газета.

Когда Василий прочитал о себе в газете хвалебный очерк, ему «немного не по себе стало. Нет, все складно, хорошо, и вроде ничего не придумано, а чего-то людям на глаза появляться стыдно было».

Недаром чем-то покорила эта статья Валова: она была написана равнодушной рукой, пустым сердцем. Ведь «благодаря» этому же бойкому корреспонденту появилась и заметка, обвиняющая Василия в краже. Нисколько не усомнился журналист, что человек, которого он воспел самыми высокими словами, способен на плохой поступок.

Абсолютная правда предполагает и личную ответственность каждого. Увы, с этим тоже... дефицит.

Когда после хождения Сидорки в район недостатки, наконец, были устранены, он с некоторым недоумением думает: «Только чуть сверху рыкнули, страху нагнали, и все мигом обернулось другой стороной и чуть ли не само сделалось... Уже месяц в магазине спичек нет. Значит, что? — садись Сидорка, или кто другой, катая жалобу? Для верности сразу в Кремль?» Снова — «берданистый вопрос»...

Свободный труд предполагает высокораз-

витое сознание, а говоря попросту — человеческую совесть. К понятиям «совесть», «честь» и апеллирует все чаще Владимир Куропатов. Как правило, это не просто индивидуальные качества его героев. В них спрессованно все то лучшее, что вынес народный дух из тяжелых испытаний. Прежде всего — из испытаний Великой Отечественной войны. «Хлеб и железо — без них нет человеческой жизни. Так война доказала. Лично мне», — размышляет Сидорка...

Это она, память о войне, продиктовала Владимиру Куропатову рассказы «Блокадный хлеб» и «Плоть от плоти».

«Мы всегда виноваты перед погибшими» — так назвал одну из своих книг старший товарищ Куропатова Владимир Мазаев. Достойны ли мы памяти тех, кто отдал свои жизни, чтобы жили мы? — этот вопрос настойчиво звучит и в рассказах Куропатова. И он с горечью отвечает на него: «Нет, далеко не всегда».

Отдельно хотелось бы поговорить о большом рассказе (или маленькой повести) «Черный мальчик и белое облако». Он — о последствиях «добровольного безумия» — пьянства.

«Аркашка Макаренко и человек и работник был», — говорят люди. К сожалению, только был.

Хорошим работником был и токарь Витька Ивлев. Более того, он был по-настоящему счастливым человеком. Не каждый может похвастаться такой женой, как его Ольга: умная, добрая, уступчивая.

Трагична судьба Аркашки. Черный мальчик — плод его пораженной алкоголем психики — уговорил-таки Аркашку покончить жизнь самоубийством. Попадает под следствие нахулиганивший по пьянке Ивлев.

Очень точно, психологически верно показано, что жена Виктора, любящая и любимая, желающая ему только добра, в конечном счете только способствует его падению. Еще в ранней юности она приучила себя попросту не замечать неприятных вещей или как можно быстрее забывать о них, повторяя про себя нехитрую формулу: «Этого не было».

В прошлом году вышло Постановление о борьбе с пьянством, а у Куропатова на эту тему уже рассказ готов, подумает кто-нибудь. Чтобы у читателей не сложилось обманчивого представления о легкости, с которой писатель «строгает» произведения на актуальные темы, напомним, что рассказ этот написан до Постановления и опубликован в 1984 году в «Огнях Кузбасса». Я был также свидетелем того, какую огромную работу проделали Владимир Куропатов и журналист

Владимир Сухачкий, подготовившие цикл радиопередач под общим названием «Трезвость — норма нашей жизни» (цикл отмечен премией областной организации Союза журналистов).

Авторам передач не доставляло, конечно, удовольствия вести репортажи из «злачных мест», вытрезвителей, ЛТП. Но ими двигало сознание: «бывших людей» станет меньше, если всем миром навалиться на эту страшную болезнь. Прежде чем написать художественную историю болезни двух людей — Аркашки Макаренко и Витьки Ивлева, писатель изучил не одну историю настоящих. Писатель остался верен своему главному принципу: изображать жизнь не предвзято, в ее реальных противоречиях.

Но заметно усилилось субъективное начало. Если раньше автор, как правило, был «скрыт» за своими героями, то теперь, не удовлетворяясь этим, он все чаще выходит на авансцену и открыто излагает свое кредо. Иногда это усиливает эмоциональное воздействие, но не так уж редко и приносит ущерб художественному единству. Желание поставить точки над «i», разрешить все острые вопросы жизни приводит к однозначности и упрощенности. Автор как бы не доверяет читателю и заново растолковывает ему то, что и так вытекало из объективного содержания рассказа. Например, рассказ «Калека» — о человеке, искалеченном не столько физически, сколько духовно, заканчивается так: «А мне кажется, что это не мальчишки, а сама жизнь обходит калеку стороной». Чересчур уж это прямолинейно.

Наметившаяся публицистичность иногда оборачивается газетными штампами. «Никитин слыл человеком энергичным, пробивным и трезвомыслящим. За два года его директорства комбинат заметно преобразился. Почти наполовину преобразился станочный

парк, построена своя котельная, расширены вспомогательные службы, сдано несколько жилых домов, повышена зарплата рабочих и до минимума сокращена текучесть кадров», — подобное вряд ли украсило бы обычную газетную зарисовку.

Крупным художественным просчетом кажется мне авторская попытка вывести пьянство Витьки Ивлева из грешков его начальства, предложивших Ивлеву точить балясины для нужного фабрике человека. Витька отказывается. И начинает пить — то ли с горя, то ли в знак протеста. Как будто у него не оставалось никакого иного выхода!

Чувствуется, что автору хотелось, помимо пьянства, затронуть и другие негативные явления. Он связал их в один узел. Спору нет: многое из того, что омрачает нашу жизнь, каким-то образом связано между собой. Но эта связь далеко не так проста.

Впрочем, подобные просчеты в новых книгах Владимира Куропатова — редкость. Абсолютное большинство рассказов художественно убедительны.

— Не слишком ли того... мрачновато? А что подумают вверху? — возможно спросит, прочитав их, старая газетчица Тарышкина.

Успокойтесь. Читатели будут благодарны автору. Сейчас, когда ведется особенно решительная борьба с негативными явлениями в нашей жизни, такая проза очень нужна. Проза открыто социальная, беспощадно правдивая, жестковатая, но ярко освещенная изнутри светом писательского идеала. Вера писателя в добро стала более активной, наступательной. Мало — любить добро. Для того чтобы сберечь его и приумножить, нужны ежедневные усилия, неутомимая работа наших душ.

В. ШИРЯЕВ

САТИРИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ

Владимир Матвеев

ДЕТСКАЯ ЗАГАДОЧКА

Все стояли
за подряд,
и была бригада
рада.
Загуляли
все подряд...
Что осталось
от подряда?

ЗАБОТЛИВЫЙ ПАПАША

Ломать березку
стал малец,
а мимо
проходил отец.
Остаться в стороне
не мог:
— Дай помогу тебе,
сынок.

ТРАГЕДИЯ НЕСУНА

И рад бы украсть,
да нет сил унести,
навар я имею куций:
и черт меня дернул
работать пойти
в цех
тяжелых
конструкций!

НЕ ДО ИГРЫ

Сказал отец младенцу:
— Я коняшка.
Садись на шею.
Мне совсем не тяжко.
Обрадовался сын.
И вот
сидит на шее
двадцать первый год.

СЕКРЕТ ЛЕТАЮЩИХ ТАРЕЛОК

Ответил очевидец
на вопрос
и убедил всех
доводами вескими:
— С летающими
встретился
тарелками,
когда жене
зарплату не принес.

СОВЕТ ЛИТКОНСУЛЬТАНТА

Живет на свете
творческая тайна,
любителей прекрасного
маня...

Учись, товарищ,
мыслить гениально
у Пушкина...
у Блока...
у меня.

ХОЛОСТОЙ ПОСЕВ

Глядеть бы водителю
зорко,
в пути
ни зерна не теряя:
в поле —
идет уборка,
на трассе —
идет посевная.

ИЗ ПИСЬМА РАБОЧИХ

На смену
приходить не забываем...
А толку что?! —
Потерям нет числа!
Не сваи
всей бригадой
забываем,
а забываем
целый день
«козла».

ЦЕННЫЙ ДАР

— Кладовщика
со стажем надо.
— Есть тут один...
Умен... Не пьет...
Сумел разворовать
два склада
и чист, как голубь...
— Подойдет!

В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ

— Солиста
мне слушать горестно,
все песни поет
вполголоса.
— Согласно
бухгалтерской справке,
работает он
на полставке.

НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ

— Двадцать один мне год, отец,
я в жизнь иду
с программой четкой...
— Мужчиной
стал ты наконец!
Рад за тебя!
Беги за водкой!

НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК

— Чем этот тип
тебе удобен?
В любых делах
ни то, ни се.
— Да, ни на что он
не способен,
зато способен он
на все.

ЗДОРОВАЯ РЕАКЦИЯ

Сказали бюрократу:
— Сотни жалоб
ты на столе рабочем
накопил.
Дать ход, приятель,
письмам не мешало б.
...И бюрократ
для жалоб
сейф купил.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭПОПЕЯ

Есть оправдания активные,
но где обещанный объект?
Опять причины объективные
нашел
ответственный субъект.

ВЕРНЫЙ ПРИЗНАК

(По мотивам
народного творчества)

— Вид у тебя, кума, унылый.
Тоскуешь ты,
видать, не зря?
— Ох, разлюбил меня
мой милый.
Давно хожу
без «фонаря».

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ» РАЗГОВОР

— Ленский —
милый парень, Алка...
Жаль,
что рано так убили...
— Мне его
совсем не жалко,
мы его
не проходили.

ОДНОБОКОМУ СТИХОТВОРЦУ

Сказать в утешение
нечего,
повторам
не видно конца:
сто раз написал
про кузнечика,
ни разу —
про кузнеца.

ПАРОДИИ

Борис Рахманов

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Мне, наподобие Разина,
бросить бы в волны любовь,
чтоб просветление разума
мне остудило бы кровь.
Пробовал — не получается:
плавать умеет княжна:
плавает и не печалится:
— Я тебе буду жена!

Владимир Дагуров
(сб. Дыхание)

Было веление разума —
Бросил княжну в волну.
Думал она, как у Разина,
Камнем пойдет ко дну.

Все рассчитал и выверил,
Думал, что путам конец!
Думал, что больше не вынырнет,
Не поведет под венец.
Глянул за борт для верности
И закричал: Ай-я-яй!
Вижу: княжна на поверхности,
Стилем плывет баттерфляй.
Дальше такие подробности:
Вышла на берег княжна,
В загс отвела без робости;
Стала совсем сатана.
Разин нашелся тоже!
Вам, говорит, поверь!
Если топить не можешь,
Плавать учись теперь!

ЯМБИЧЕСКАЯ СИЛА

Рифмую «Слово о полку»
В четырехстопный раз.
Но все молчат мои князья,
Как перед толмачом.
И отомкнуть их речь нельзя
Ямбическим ключом.
«Ты — сам, мы — сами по себе.
И твой язык — не наш!»

Андрей Чернов
(сб. Оттиск)

В каком неведомо веку
Явился мне Боян:
— Не трогай «Слово о полку»,
Испортишь, хулиган!
В каком неведомо веку
Явились мне князья:
— Не трогай «Слово о полку»,
Андрюшенька, нельзя!
— Ты не освоил наш язык, —
Сказали мне князья.
Пришел Кончак — глазами зырк,
И тот нашел изъян.
Князь Игорь тоже прочитал,
Не ел, не пил три дня,
Над переводом причитал,
Велел позвать меня.
И, пошептавшись с толмачом,
Дружине дал приказ:
— Казнить ямбическим ключом
В четырехстопный раз!

ПРО ЛОНАТУ

Я в землекопах числился по штату
И, отвечая должностью такой,
С восьмью утра держался за лонату,
Которую прозвали штыковой.

Алексей Чечулин
(сб. День прибытия)

Я в юности, друзья, любил лонату,
И без лонаты шаг не ступал,
Не доверял ни матери, ни брату,
А иногда с лонатой — даже спал.
Но всё-таки, бывало, расставался,
Когда садился с лонкою к столу,
Тогда лонату в угол ставил — каюсь,
Она стояла грустная в углу.
Давным-давно лонатой не копаю,
Все чаще с авторучкою дружу.
Но, говорят, когда стихи копаю,
Что будто их лонатою пишу.

ФАМИЛЬНЫЕ НЕУДОБСТВА

Родом не из лежебоков,
Не из тех, кто в стороне,
Я, простите, Виктор Боков,
Лодырь — это не по мне!

Виктор Боков

(сб. Липика)

Мне с фамилией морoka,
И поскольку Боков я,
То всегда выходит Боком
Мне фамилия моя.
Отродясь не лодырь вроде,
Работа — я таков,
Потому при всем народе
Отрекаюсь от Боков.
Чтоб повсюду затихали
Кривотолки обо мне,
Я отныне отдыхаю
Только лежа на спине.

2. НОВОКУЗНЕЦК



Муравьев А. М. (Иркутск). А. И. ОДОВЕВСКИЙ (из серии «Герои декабря 1825 года»). 1984. Цветная литография.

